



ФОНД ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ

Edmund WNUK-LIPIŃSKI

SOCJOLOGIA
ŻYCIA PUBLICZNEGO

Эдмунд ВНУК-ЛИПИНСКИЙ

СОЦИОЛОГИЯ
ПУБЛИЧНОЙ ЖИЗНИ



·МЫСЛЬ·
МОСКВА

УДК 316.3.7
ББК 60
В69



ФОНД ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ

Перевод с польского: *Е. Г. Гендель*

Внук-Липиньский Э.

В69 Социология публичной жизни / Эдмунд Внук-Липиньский ; пер. с польского Е. Г. Генделя. — Москва : Мысль, 2012. 536 с.

ISBN 978-5-244-01165-4

Настоящий учебник представляет собой попытку очертить поле исследований для социологии публичной жизни, а также упорядочить новейшие теоретические знания и эмпирические установления именно с этой точки зрения.

У социологии публичной жизни более широкая сфера, чем у социологии политики, потому что в поле интереса первой находятся любые проявления общественной жизни, возникающие между стихией домашних хозяйств и других неформальных социальных микроструктур, с одной стороны, и уровнем национального государства — с другой. Публичную жизнь любого общества не удастся свести к политической сфере: существует огромная территория публичной жизни, которая носит аполитичный характер. Многие — а возможно, даже большинство — из институтов и проявлений активности гражданского общества, заполняющих пространство публичной жизни, носят именно такой, сугубо аполитичный характер.

УДК 316.3.7
ББК 60

ISBN 978-83-7383-307-4 (польск.)

© by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp.
z. o. o., Warszawa, 2005, 2008

ISBN 978-5-244-01165-4 (рус.)

© Мысль, 2012

Содержание

Предисловие	11
Вступление	13
Глава 1. ТЕОРИИ РАДИКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ	28
Введение	28
Формы радикального изменения общественного строя	30
Классические революции	32
Общества открытые и закрытые.	43
Главные типы современных режимов по Линцу и Степану	45
Теории демократии	49
Либерализация и демократизация	59
Демократические революции в условиях глобализации мира	63
Теории перехода к демократии	69
Глава 2. ОБЩЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНОЙ ЖИЗНИ	83
Введение	83
Социальная структура: основные понятия	86
Виды социального неравенства: поляризация и изменение межклассовых дистанций	91
Принципы социальной справедливости и легитимация неравенства	94
Относительная депривация	102
Три категории неравенства и публичная жизнь	104
Внеструктурные общественные размежевания	109
Общественные размежевания — и варианты поведения в публичной жизни	112
Неравенство и качество демократии	118
Социальная политика	119

Глава 3. Социальная субъектность и чувство действенности	124
Введение	124
Вебер и хитросплетения развития <i>theory of agency</i>	129
Действенная субъектность — понятия и определения	133
Индивидуальный и коллективный актор	139
Структура и действенная субъектность.	142
<i>Микроуровень</i> и <i>макроуровень</i>	148
Культура и социальная субъектность.	150
Риск и ответственность — и субъектность	153
Субъектность в плюралистическом обществе	156
Глава 4. Гражданский статус	158
Введение	158
Определения основных понятий	159
Историческое развитие концепции гражданственности	165
Либеральная и коммунитарная концепции гражданственности.	170
Гражданственность, национальное государство и общественно-политический порядок	174
Воспроизведение гражданства после коммунизма	177
Радикальные концепции гражданства	180
Глава 5. Гражданское общество	184
Введение	184
Понимание гражданского общества	187
Специфика гражданского общества в Центральной и Восточной Европе	196
Спор о гражданском обществе: либеральная и республиканская точки зрения	208
Гражданское общество и национальное сообщество.	214
Гражданское общество и политическое общество	217
Между общностью и объединением (обществом)	219
Глава 6. Гражданственность и гражданское общество в условиях глобализации мира	223
Введение	223
От вестфальской модели к космополитической демократии	227

Либерально-интернационалистический подход	228
Республиканский подход	231
Космополитический подход	234
Почему утопия? Теоретическое отступление	238
Критика концепций	
по демократизации глобализации	242
К глобальному гражданскому обществу?	251
Глава 7. Политическая культура	
и качество демократии	256
Введение	256
Понятия и определения	259
Запас политической культуры у поляков	265
Политическая культура как фактор, тормозящий агрессию и насилие в публичной жизни	271
Социальный капитал и политическая культура	279
Политическая алиенация	282
Глава 8. Ценности, интересы и идеологии.	285
Введение	285
Аксиологическая сфера публичной жизни (ценности)	288
Прагматическая сфера публичной жизни (интересы)	293
Конфликтные шкалы оценки — и варианты поведения и установки индивида	299
Публичная жизнь как пространство согласования притязаний	301
Идеология как легитимация требований	303
Разновидности идеологий и их притязания	306
<i>Консерватизм</i>	306
<i>Либерализм</i>	308
<i>Социализм</i>	310
<i>Коммунизм</i>	312
<i>Национализм</i>	314
<i>Фашизм</i>	316
<i>Популизм</i>	318
<i>Фундаментализм</i>	321
<i>Феминизм</i>	328
Интересы и ценности	
в условиях системного изменения	329
Идеологии после коммунизма	336

Глава 9. Коллективные акторы публичной жизни	338
Введение	338
Коллективные действия	343
<i>Толпа</i>	356
<i>Общественное движение</i>	363
<i>Группы интересов</i>	368
<i>Гражданские неправительственные организации</i>	370
<i>Политические партии</i>	373
Глава 10. Социальные конфликты	390
Введение	390
Классические теории социального конфликта	391
Современные теории социального конфликта	397
Определение социального конфликта	402
Типы социальных конфликтов	404
Социальные конфликты в демократическом и недемократическом обществе	413
Способы разрешения конфликтов	418
Социальные конфликты в Польше после Второй мировой войны	422
<i>Познанский Июнь (1956)</i>	424
<i>Польский Октябрь</i>	425
<i>Март '68</i>	427
<i>Декабрь 1970-го и конфликты 70-х годов</i>	429
<i>Польский Август и его последствия</i>	431
<i>Конфликты в III Речи Посполитой</i>	435
Глава 11. Маргинализация и социальное исключение	437
Введение	437
Концепции и определения: маргинализация и исключение	439
Причины маргинализации и исключения	449
Маргинализация как побочный эффект системной трансформации	455
Последствия маргинализации и социального исключения	456
Глава 12. Патологии публичной жизни	459
Введение — что является частным, а что публичным	459
Патология публичной жизни и социопатология — определения	461

Теоретические подходы к проблеме патологии публичной жизни	465
Коррупция.	468
Политический капитализм	473
Причины патологий публичной жизни	476
Эпилог	480
ПРИЛОЖЕНИЯ	488
<i>Акт Тарговицкой конфедерации (фрагменты)</i>	488
<i>Декларация прав человека и гражданина, принятая 26 августа 1789 г.</i>	490
<i>Варшавская конфедерация 28 января 1793 г.</i>	492
<i>Конституция 3 мая Правительственный закон (3 мая 1791 г.)</i>	497
Библиография	508
МАЛЫЙ ПОДРУЧНЫЙ СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ И ТЕРМИНОВ	528

Предисловие

Данная книга создавалась в Институте политических исследований Польской Академии наук (ПАН). Несомненно, она была в значительной степени инспирирована дискуссиями в отделе общественно-политических систем названного института. Книга наверняка получилась бы беднее, если бы отсутствовал еще один источник того интеллектуального воодушевления и стимулирования, которые проистекали от регулярных встреч на кафедре социологии в Collegium Civitas¹. Благодарю проф., д-ра наук Ядвигу Коралевич (Jadwiga Koralewicz) и проф., д-ра наук Анджея Антошевского (Andrzej Antoszewski) за их рецензию на первый замысел этой работы. Особую благодарность должен выразить проф., д-ру наук Александру Мантерису (Aleksander Manterys), чьи пронизательные замечания позволили мне улучшить текст. Хочу также выразить признательность рецензенту данной работы проф., д-ру наук Хиерониму Кубяку (Hieronim Kubiak) за возможность использования его дельных и весьма существенных соображений. Нет нужды добавлять, что любые недостатки и оплошности, которые заметит читатель, лежат исключительно на моей совести.

В конце должен также высказать слова благодарности проф., д-ру наук Петру Штомпке, который предложил мне написать данную работу, а также проф., д-ру наук Яцеку Рациборскому (Jacek Raciborski), чьи тактичные, хотя и неусыпные напоминания об

¹ *Collegium Civitas* («Гражданская коллегия») — непубличное академическое высшее учебное заведение, возникшее в Варшаве в 1997 году по инициативе ряда научных сотрудников Института политических исследований ПАН и действующее ныне под покровительством пяти институтов общественных наук ПАН, в том числе Института философии и социологии, а также Института истории. Автор настоящей книги, проф. Э. Внук-Липиньский, является ректором *Collegium Civitas*. В этом негосударственном вузе, имеющем право присуждать ученую степень доктора гуманитарных наук по социологии, обучается в настоящее время около 1700 студентов и слушателей последипломного обучения, а занятия ведут свыше 200 преподавателей — видных ученых и практиков. *Collegium Civitas* шесть раз занимала первое место в рейтинге высших школ Польши среди негосударственных вузов, не относящихся к сфере бизнеса. — *Здесь и далее все примечания и сноски, не помеченные как принадлежащие автору настоящей книги, подготовлены переводчиком.*

уходящем времени помогли мне завершить работу в разумные сроки. Наконец, хочу поблагодарить свою жену и дочь, которые в меру терпеливо выносили мои длительные *tête-à-tête* (свидания с глазу на глаз) с компьютером.

Вступление

Без малого пять столетий назад {видный польский гуманист и общественный деятель} Анджей Фрыч Моджевский (1503—1572) писал: «*Sit igitur finis hic rei publicae, ut civibus omnibus bene beateque, hoc est honeste recteque vivere liceat*» («Таковою должна быть цель государства, дабы все его граждане могли жить хорошо и счастливо, честно и благородно»)¹. В атмосфере Ренессанса, которая завладела тогда почти всей Европой — а Польша была одной из крупных монархий на континенте, — создание государства, дружелюбного к людям и защищающего гражданские добродетели, казалось достижимым. Сегодня, обогащенные историческими сведениями, а также знаниями, черпаемыми из общественных наук, мы воспринимаем требование Фрыча Моджевского как утопическое, чтобы не сказать наивное. Нигде в мире на протяжении прошедших с той поры веков не возникло такое идеальное государство, основополагающей и реализованной целью которого было бы благо и счастье его граждан, не материализовалась мифическая Аркадия, где все живут «честно и благородно». Опыт минувших столетий доказывает скорее нечто противоположное: возникло множество государственных структур, основанных на эксплуатации и порабощении своих граждан; таких государств, где система вознаграждала скорее подлость и низость, нежели благородство или честность. Аушвиц (Освенцим) и Кольма стали в XX веке мрачными иконами предельной — как представляется — развращенности государства, последствиями чего стали чудовищные преступления геноцида, совершенные против как собственных граждан, так и граждан других государств, которые были завоеваны насилием или обманом. Проявления исторического опыта скорее склоняли бы нас к пессимизму.

Но ведь исход XX века, особенно после падения мировой коммунистической системы, явился вместе с тем периодом подлинного взрыва демократии. Никогда в мировой истории количество демократических государств не было столь велико. И, хотя

¹ Это написано в книге Фрыча Моджевского «*Commentariorum de Republica emendanda*», libri V, 1554 (1551?); перевод первых трех книг на польский сделал Ц. Базилик (С. Bazylik), и он вышел в 1577 году под названием «*O poprawie Rzeczypospolitej*» («Об исправлении Речи Посполитой»).

тогдашний прогноз, который провозглашал, что мы являемся свидетелями окончательной победы либеральной демократии над другими формами правления, в наши дни выглядит — как минимум — преждевременным (если вообще верным), все-таки это правда, что в настоящий момент число граждан, живущих в странах с демократическим строем, больше, чем когда-нибудь ранее, а та глобальная тенденция, которую Сэмюэл Ф. Хантингтон (*Huntington*, 1991) назвал **третьей волной демократизации**, по-прежнему обнаруживает много энергии, и не видно симптомов, сигнализовавших бы о ее быстром угасании.

Публичная жизнь старых и новых демократий претерпевает эволюцию, отдаленные последствия которой сегодня трудно предвидеть. Даже в авторитарных системах, кажущихся реликтом эпохи **холодной войны**, происходят медленные преобразования публичной жизни, которые, быть может, принесут в будущем плоды в виде ее качественного изменения. Пространство публичной жизни тем самым представляет собой поле для наблюдения увлекательных и порой даже захватывающих явлений, в которых мы выступаем свидетелями или же сознательными либо невольными действующими лицами, иначе говоря деятелями («актерами»¹).

Основная цель данного учебника состоит в ознакомлении читателя с актуальными знаниями на указанную тему. Возникает, однако, необходимость объяснить, почему в его заголовке оказалось выражение **«социология публичной жизни»**. Другими словами, можно ли вычленив из социологии такой раздел или субдисциплину, которую можно было бы назвать **социологией публичной жизни**, и если да, то чем эта отрасль социологии могла бы отличаться от, например, социологии политики? Различие это представляется относительно простым. Социология политики занимается политической проблематикой, а следовательно, тем фрагментом коллективной жизни, который более или менее тесно увязывается со сферой властвования. Стержнем указанной сферы является проблема власти, ее распределения, правомочности, функционирования и т.д. Таким образом, предметом интереса для социологии политики являются институты, акторы,

¹ Этот термин, представляющий собой кальку английского *actor*, уже достаточно широко используется в русскоязычной специальной литературе. Подробнее он обсуждается в разделе «Индивидуальный и коллективный актер» главы 3.

взаимоотношения, явления, установки, формы и варианты поведения, верования, нормативно-инструктивные материалы, указания и многие другие аспекты, которые в ясно и четко определенном смысле относятся к власти.

Тем временем публичную жизнь всякого общества не удается свести к политической сфере — точно так же, как не удается свести статус гражданина к политической активности. Дело в том, что существует огромная территория публичной жизни, которая носит аполитичный характер (иногда «программно» аполитичный). Многие — а возможно, даже большинство — из институтов и проявлений активности гражданского общества, заполняющих пространство публичной жизни, носят именно такой, сугубо аполитичный характер. Тем самым публичная жизнь определенного общества по своему охвату оказывается шире, нежели его политическая жизнь. Видимо, как раз по этой причине часть теоретиков (о чем еще пойдет речь в настоящем учебнике) проводит различие между политическим обществом и гражданским обществом *sensu largo* (в широком смысле).

Аналогично у социологии публичной жизни более широкая сфера, нежели у социологии политики (хотя отчасти сферы этих двух разделов общей социологии перекрываются), потому что в поле интереса первой находятся любые проявления общественной жизни, возникающие между стихией домашних хозяйств и других неформальных социальных (общественных)¹ микроструктур, с одной стороны, и уровнем национального государства — с другой. Предметом исследований для социологии политики является само государство и его институты. Тем временем для социологии публичной жизни государство представляет собой один из самых

¹ В польском языке, как и в русском, присутствуют оба слова: «социальный» и «общественный» — с той разницей, что если в современной русскоязычной научной литературе они используются с примерно одинаковой частотой (ранее это было не так — преобладало слово «общественный»), то в польской соотношение между ними составляет ныне примерно 1:5, а в оригинале данной книги даже 1:100. Учитывая это обстоятельство (а также решительно высказанное мнение автора данной книги, проф. Э. Внук-Липиньского, который хорошо владеет русским языком) и стремясь в указанном вопросе, как и везде, с максимальной точностью воспроизводить авторскую волю, было принято решение в переводе иногда отдавать предпочтение слову «общественный» даже в тех случаях, когда российская традиция ныне чаще употребляет слово «социальный».

существенных факторов, устанавливающих граничные условия¹ функционирования публичной сферы определенного общества, и, следовательно, оно является существенной точкой отсчета для попыток объяснить и истолковать эту сферу публичной жизни, но не предметом исследования *per se* (само по себе). Государство представляет собой одну из ключевых независимых переменных — если воспользоваться языком эмпирической социологии, — с помощью которых объясняется функционирование публичной сферы.

Это, разумеется, не означает, что политика не должна входить в поле интересов социологии публичной жизни. Скорее напротив, ведь политика — как бы *ex definitione* (по определению) — «вершится» в публичном пространстве. Исключение этой проблематики из рассмотрения и концентрация единственно на аполитичных публичных акторах и действиях было бы процедурой искусственной, чтобы не сказать странной, особенно с учетом того, что те или иные действия, которые были интенционально (по своим намерениям)² аполитичными, вполне могут порождать политические последствия. Встает, следовательно, вопрос о том, где должна проходить демаркационная линия, отделяющая социологию публичной жизни от социологии политики.

Провести между ними точную границу наверняка не удастся, да в этом и нет необходимости. Невозможно, например, строгое разграничение политологии и социологии политики, что не воспринимается ни политологами, ни социологами политики как некий особый дискомфорт. Аналогичным образом обстоит дело и в данном случае.

Интуитивно можно принять, что обсуждаемая здесь потенциальная субдисциплина социологии могла бы концентрироваться на том фрагменте общественной реальности, где она носит публичный характер, хотя и необязательно институционализированный. Ключевой исследовательской проблемой был бы тогда

¹ Хотя автор использует здесь и далее (например, в главе 5) именно этот термин, характерный в большей степени для математических моделей, его следует понимать скорее как необходимые или же минимально необходимые условия.

² Учитывая, что данная книга задумана как учебник, редакция сочла целесообразным здесь и далее кратко разъяснять в скобках значение тех терминов и понятий, которые могут быть недостаточно известны кому-либо из менее подготовленных читателей, еще только осваивающих социологию, а также уделять повышенное внимание терминологии и ее вариантам.

вопрос социальной субъектности индивидов и групп, социальных взаимоотношений в публичной сфере, а также того весьма разнобразного спектра социальных ролей, которые можно исполнять только в публичной сфере. Поэтому очевидно, что особый интерес возбуждали бы такие роли, из которых складывается понятие **гражданства**, хотя нет разумных причин ограничивать интересы исследователей только подобными ролями. Если нам бы не хотелось, чтобы рассмотрение этих центральных проблем повисло в вакууме, то надлежало бы соотносить их с более широким социальным контекстом, а следовательно, с одной стороны, с государством и общественной системой вместе с логикой их функционирования, а с другой — со стихией неформальных социальных микроструктур, из которых вырастает значительная часть динамики публичной жизни. Впрочем, у этой проблематики довольно зыбкие границы, но другими они и не могут быть.

Настоящий учебник представляет собой попытку очертить поле исследований для социологии публичной жизни, а также упорядочить новейшие теоретические знания и эмпирические установления именно с этой точки зрения.

Конструкция данного учебника опирается на предположение, что наиболее существенным фактором, определяющим условия функционирования публичной сферы (иначе говоря, самой существенной «независимой переменной»), является национальное государство, понимаемое в соответствии с просвещенческой, а не романтической традицией. Современное национальное государство необязательно должно быть этнически гомогенной (однородной) общностью¹. В сегодняшнем мире вместе с миграциями,

¹ При переводе терминов *wspólnota* и *zbiornowość*, которые являются одними из центральных в этой книге (в общезыковых польско-русских словарях первое из них переводится как «сообщество, содружество, общность, община», а второе — «коллектив, ассоциация»), переводчик, выбирая между двумя единственно возможными вариантами («сообщество» или «общность») и вполне осознавая заметно более высокую популярность и «современность звучания» слова «сообщество», все-таки отдал предпочтение второму и тем самым согласился с концепцией, изложенной в статье А. А. Грицанова «Общность и общество» из обширного труда «Социология: Энциклопедия» (сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко и др. Минск: Книжный Дом, 2003. 1312 с.), где, в частности, сказано: «...выбор в пользу „общности“, а не „сообщества“ сделан потому, что последнее этимологически связано со словом „общество“, оно производится от него путем прибавления приставки „со“; „сообщество“ как бы подразумевает первичность „общества“, которое

усиливающимися в глобальном масштабе, существует все больше государств, внутренне дифференцированных с этнической точки зрения, хотя это не означает, что они перестают быть организационной формой народа или нации. Это такая нация, в рамках которой этнические критерии не теряют существенности применительно к формированию индивидуальной идентичности ее членов, однако применительно ко всей общности, организованной в государство, они имеют второстепенное значение. Типичным примером такого государства служат Соединенные Штаты Америки. Дефиниция **«национальное государство» будет здесь применяться по отношению к народу, который определяется политически, а не этнически.**

Отдельные проблемы, укладывающиеся в тот диапазон, который охватывает социология публичной жизни, будут обсуждаться в рамках понимаемого именно так современного национального государства. Разумеется, это не означает, что мы станем игнорировать более широкий контекст функционирования современных национальных государств, а особенно глобализацию. Во внимание будут также приниматься контексты локальных сообществ, функционирующих ниже уровня национального государства. Как глобальный контекст, так и контекст местный, локальный во все более отчетливой степени совместно устанавливают условия функционирования публичной сферы, а следовательно, их никак нельзя обойти в наших рассуждениях. Однако по-прежнему наиболее важным фактором в этом смысле останется национальное государство, и именно оно явится главной точкой отсчета для предпринимаемых нами попыток объяснения публичной жизни.

Современные национальные государства в огромной степени дифференцированы, и нет возможности учесть все их модели, встречающиеся в мире. Посему возникает проблема отбора и применяемых для этого критериев. Наши рассуждения будут в первую очередь касаться публичного пространства в тех национальных государствах, у которых за плечами имеется исторически совсем недавний опыт коммунистической системы и которые представляют собой относительно «молодые» демократии.

на определенной стадии своей эволюции дорастает до более высокой формы — „сообщества“, подобно тому как „дружба“ дорастает до „содружества“». Что касается термина «сообщество», то он используется в данном переводе примерно там, где уместно английское «community».

Ибо этот фактор — так же как и травма перехода от коммунистической системы и распорядительно-распределительной экономики к демократической системе и свободному рынку¹ — в довольно существенной степени определяет отдельные специфические свойства функционирования публичной жизни в этих странах. Там, где это необходимо, будут проводиться сравнения с публичным пространством в демократических национальных государствах Запада, а также в таких еще продолжающих существовать государствах, где действует авторитарная или даже тоталитарная система.

Книга начинается главой, где подвергнутся обсуждению различные теории радикального общественного изменения. Естественно, наиболее радикальным общественным изменением является революция, результатом которой становится полное изменение общественного порядка, а вместе с ним фундаментально иная организация публичной жизни. Однако демократические революции, которые возбудили третью волну демократизации, значительно отличались от классических революций в смысле как своего протекания, так и роли масс в указанном перевороте. Посему специфика демократических революций, особенно тех, что сопровождали падение коммунистических режимов, будет показана на фоне классических теорий революции, которые в данном случае могли объяснить ход событий лишь в ограниченных пределах. Повергнутся систематизации и разнообразные теории системной трансформации, будет показана их полезность для описания и интерпретации как самого изменения, так и его последствий. Дело

¹ В русскоязычной литературе ныне вместо слова «переход» в этом контексте чаще используется калька с американского термина «транзит» (которая, кстати, в ходу и у польских политологов). Однако, как и в ряде других случаях, в том числе для пары общественный—социальный, после беседы с автором данной книги проф. Э. Внук-Липиньским предпочтение, причем еще более решительное, было отдано тому польскому термину «przejście», который применяет автор. (При этом надо отметить, что в польском языке он, помимо основного значения: «переход» [иногда «проход»], означает также «переживание, испытание», и этот оттенок смысла прекрасно подходит для характеристики всякой смены общественного строя, даже если эта смена проходит мирно. К сожалению, у русского термина «переход», как, впрочем, и у термина «транзит», этого привкуса нет.) Все вышесказанное относится также к термину «общественное изменение», который и в польском оригинале, и, соответственно, в настоящем переводе предпочитается термину «трансформация», используемому в несколько ином смысле, о чем пойдет речь далее.

в том, что исследования перехода от недемократической системы к демократии создали некую типичную **транзитологическую** парадигму¹, плодом которой явилась весьма обильная социологическая литература. Коль скоро речь идет о переходе к демократической системе, то в данной книге необходимо представить — по крайней мере, хотя бы на самом элементарном уровне — и избранные теории демократии. Данная проблема будет показана как в ее динамичном аспекте, так и в сравнительной перспективе. Это даст возможность обрисовать причины системного изменения и фазы перехода от недемократической системы к демократии. А также позволит обратить внимание на два параллельных и синхронных процесса, формирующих переход к демократической системе, а именно на либерализацию и демократизацию.

Вторая глава посвящена обсуждению структурных детерминант для разных вариантов поведения в публичной жизни. Прежде всего, будет предпринята попытка ответить на вопрос, действительно ли место в социальной структуре существенным образом обуславливает участие в публичной жизни. Чтобы ответить на данный вопрос, следует ввести понятия стратификации и общественного (социального) статуса, а также понятия легитимированного и нелегитимированного социального неравенства. Ведь лишь на их основании можно формулировать утверждения об относительной депривации и ее влиянии на установки и варианты поведения, проявляющиеся в публичной жизни. Очередным шагом является обсуждение принципов социальной справедливости, а также способа их функционирования в публичной жизни. Ибо я исхожу из предположения, что признание определенных принципов социальной справедливости (на почве которых вырастают разнообразные идеологии) выступает в качестве ключевого фактора легитимации тех или иных типов социального неравенства либо отказа им в правомочности. В свою очередь, те виды и проявления неравенства, которые не располагают общественной легитимацией, образуют первичный источник относительной депривации. Если же относительная депривация перешагнет за пределы уровня социальных микроструктур и обретет общий вектор, то она высвобождает коллективные действия, нацеленные на устранение

¹ Как и во многих других случаях, предпочтение здесь отдано авторскому термину, а не более привычному в русскоязычной литературе термину «парадигма транзита».

или по меньшей мере на сокращение нелегитимизированного социального неравенства.

Главной проблемой очередной главы является вопрос социальной субъектности и чувства действенности {т.е. способности к активной, волевой деятельности}. Как известно, одним из самых существенных мотивов, который подтолкнул поляков к коллективным выступлениям в 1980 году (когда родилась первая «Солидарность»), было желание восстановить социальную субъектность, а также чувство контроля над собственной жизнью. Лишь после восстановления субъектности можно реалистически думать о воздействии не только на превратности собственной биографии, но и на судьбы того сообщества, к которому принадлежишь, и шире — на судьбы всей страны. Вдобавок к этому чувство социальной субъектности является необходимым (хотя и не достаточным) условием появления гражданского общества. Ведь гражданство неразрывно связано с социальной субъектностью, а та, в свою очередь, с определенной сферой свободы в пространстве публичной жизни, предоставляющей возможность не только гражданской экспрессии (внешнего выражения), но и свободной институционализации общественных сил, создающих плюралистический конгломерат организаций, объединений и партий, которые заполняют своею активностью пространство между уровнем социальных микроструктур (семьей и малыми неформальными группами) и уровнем государства и народа. Чувство субъектности связывается с чувством действенности (*agency*), а оно, в свою очередь, связано с чувством ответственности за собственные поступки и их последствия. Нельзя быть ответственным за нечто такое, на что не имеешь реального влияния, — точно так же, как нельзя избежать ответственности за нечто такое, что является непосредственным следствием хорошо подающейся идентификации собственной действенности.

Обсуждение этих взаимоотношений и взаимозависимостей необходимо для более глубокого понимания того контекста, в котором появляется феномен гражданства (что явится темой главы 4), а также гражданского общества (глава 5).

Вопрос гражданства обсуждается применительно к концепции Т. Х. Маршалла (Т. Н. Marshall)¹, но в нее введены новые под-

¹ Имеется в виду классическое исследование гражданства и прав граждан «Гражданство и социальный класс» (1950) этого британского социолога, которое остается отправной точкой для большинства современных

ходы, которые помещают проблему гражданства в контекст перехода от авторитарной системы к демократии. Обрисованы также различия между гражданином, потребителем и клиентом. Подвергнется обсуждению и концепция «плюралистического гражданина», а также проблема гражданства в глобализирующемся мире.

Следующая глава начинается указанием источников исторических гражданских обществ, восходящих к временам Древней Греции и Рима. Указанный материал образует, однако, лишь кратко изложенный контекст, который позволяет лучше понять историческую эволюцию данного понятия и всего того комплекса общественных явлений, которые оно образует. Приводится объяснение довольно широкого и обобщенного понимания гражданского общества, а также его специфики в Центральной и Восточной Европе. Особое внимание уделяется формированию гражданского общества именно в этом регионе мира, поскольку многие из теоретиков придерживаются мнения, что нынешний ренессанс гражданского общества в общественных науках и в публичном дискурсе нужно в большой мере считать обязанным как раз событиям в Центральной и Восточной Европе на склоне XX века.

Либеральная и республиканская перспективы (а также, в определенных пределах, и родственная последней коммунитарная перспектива) по-разному позиционируют индивида в социальном контексте. Спор по этому поводу, ведущийся уже много лет, касается не только единичного человека, но переносится также на понимание общества в целом и гражданского общества в особенности. На сегодняшний день это весьма серьезная теоретическая дискуссия, последствия которой носят практический характер, например в сфере идеологии и политики. Поэтому реконструкция позиций, занимаемых сторонами этого спора, становится существенным дополнением к знаниям о гражданском обществе. Часто бывает так, что публичные дебаты вытекают из различающихся исходных предпосылок, на которые молча, а иногда и бессознательно опираются разнообразные антагонисты, и в итоге подобные диспуты редко приводят хотя бы к лучшему пониманию позиции противоположной стороны, уже не говоря о консенсусе.

Гражданское общество не тождественно национальной общности, хотя почти все члены обоих типов совокупностей — это

дискуссий на данную тему (недавно оно вышло по-русски, см. раздел «Библиография» в конце книги).

одни и те же лица. Тем не менее участие в каждой из названных общностей характеризуется различными свойствами и чертами, которые подвергаются в данной главе краткому обсуждению. С похожими отличиями мы сталкиваемся при описании гражданского общества, которое контрастно сопоставляется с обществом политическим. И в данном случае будет полезным ознакомление с природой указанных различий.

В последние годы определенные структуры гражданского общества пересекают границы национальных государств и начинают функционировать в глобальных масштабах. Подобные явления склоняют некоторых исследователей к следующему выводу: мы наблюдаем современные зачатки чего-то такого, что в не столь уж отдаленном будущем может стать глобальным гражданским обществом. А в более радикальной версии — что мы уже сейчас имеем дело с таким явлением. Поэтому есть смысл указать на осложнения, которые должен был бы преодолеть процесс формирования глобального гражданского общества, чтобы стать реальным общественным явлением. Размышления на эту тему присутствуют в главе 6.

Следующая глава поднимает проблему качества демократии. Ведь нельзя не согласиться с мнением, что отдельные конкретные демократии, которые похожи между собой с процедурной точки зрения, все-таки отличаются, причем иногда весьма отчетливо, с точки зрения качества. В свою очередь, для качества демократии решающую роль играют, с одной стороны, четкость и эффективность демократических институтов, а с другой — гражданская культура. Стоит сразу же отметить, что гражданская культура не тождественна культуре политической. Разъяснению этих понятий, а также их отношения к качественному уровню демократии и будет посвящена основная часть данной главы. Одним из существенных мерил качества демократии является прозрачность применяемых процедур, обязательность одних и тех же правил участия в публичной жизни (в том числе и в политической жизни) по отношению ко всем индивидуальным и групповым акторам, а также принятие на себя ответственности за свои действия и решения перед теми, на кого указанные действия и решения оказывают влияние. В англосаксонской литературе эта последняя проблема определяется термином *accountability* (подотчетность). На польском языке его точный эквивалент отсутствует, и поэтому используются описательные приближения (которые напрямую переносятся в русский текст. — *Перев.*).

Мы обсудим также вопрос, зависит ли четкое и эффективное функционирование демократической системы (*democratic performance*) от гражданской культуры — как это предполагается в некоторых теориях — или же скорее от четкости и эффективности функционирования институтов и правил игры. Опережая приводимую там аргументацию и умозаключения, есть смысл сразу констатировать, что мы имеем здесь дело с синергическим (взаимоусиливающимся) союзом двух вышеназванных факторов. Высокая гражданская культура и эффективные институты, а также понятные, прозрачные, повсеместно применяемые и устойчивые правила игры взаимно подкрепляют друг друга. Низкая гражданская культура может «испортить» теоретически эффективные институты, а также ограничить понятность правил игры, подорвать их стабильность и поставить под сомнение их повсеместность. Аналогично неэффективные институты и туманные, непонятные правила игры с постоянно растущим числом привилегированных исключений для неких индивидов или групп могут снизить уровень гражданской культуры.

В главе 8 обсуждаются ценности и интересы (явные и скрытые), на почве которых вырастают идеи и идеологии, образующие необычайно сложный аксиологический регулятор функционирования публичной жизни. Текст не будет систематическим лекционным изложением основных идеологических доктрин, поскольку не в этом состоит цель данной главы. Она скорее представляет собой описание механизмов, формирующих разнообразные идеологии, а также дает определения групповых интересов, функционирующих в публичной жизни. Здесь присутствует еще и попытка воспроизвести — в условиях радикального изменения общественного строя — динамичные взаимозависимости между двумя принципиально разными подходами, когда в публичной жизни руководствуются скорее ценностями или же скорее интересами. Кроме того, тут показан и механизм преобразования определения групповых интересов под воздействием фундаментальных изменений в логике функционирования общественной системы (в том числе ее публичной сферы). На этом фоне вкратце описаны общественные механизмы формирования различных идеологий — консервативных, либеральных, социалистических, коммунистических, националистических, фашистских, популистских, фундаменталистских и феминистских. Эти идеологии будут соотнесены с теми принципами социальной справедливости, о которых пойдет речь в главе 2.

Глава 9 содержит характеристику типичных акторов публичной жизни. В этой связи мы найдем здесь информацию об общественных движениях, о гражданских неправительственных организациях, об организованных группах интересов и о политических партиях. Каждый из этих коллективных акторов публичной жизни характеризуется иным, отличающимся способом институционализации, он иначе определяет цели действия, а также иным способом формирует гражданскую идентичность своих членов. Проблема формирования гражданской идентичности под воздействием участия в публичной жизни через разные формы активности представляется особенно важной в условиях радикального изменения строя. Именно поэтому данное существенное общественное изменение служит основанием для соотнесения конкретных описаний отдельных коллективных акторов публичной жизни. Нельзя, однако, игнорировать тот факт, что в условиях национального демократического государства акторы публичной жизни действуют в общественном пространстве, которое открыто также влияниям со стороны глобализирующегося мира. Поэтому в тексте главы учитывается и эта совокупность обстоятельств.

Социальные конфликты являются устойчивым компонентом плюралистической публичной жизни. Так происходит по той причине, что в публичном пространстве сталкиваются противоречивые интересы и ценности. Иногда эти конфликты перерастают в более серьезные социальные волнения, которые нарушают «нормальное» функционирование демократической общественной системы. Именно поэтому в главе 10 можно также найти типологию конфликтов, характерных для либеральной демократии и рыночной экономики, и, кроме того, способы их разрешения. Особый акцент делается при этом на следующие два способа: во-первых, в соответствии с демократическими процедурами, во-вторых, в соответствии с корпоративными процедурами. Указанная общая типология конфликтов, а также способов их разрешения в плюралистическом пространстве публичной жизни контрастно сопоставляется с конфликтами, характерными для недемократических систем, а особенно для коммунистической системы и распорядительно-распределительной экономики.

В главе 11 затрагиваются проблемы социальной маргинализации. За этим понятием скрывается сложное переплетение обстоятельств, которое приводит к тому, что определенная часть общества не пользуется своим гражданским статусом, не принимает

участия в потреблении плодов экономического роста (или, по крайней мере, это участие является непропорционально малым по отношению к остальному народонаселению) и не участвует в культуре. Будут представлены как причины социальной маргинализации в демократических и рыночных обществах, так и механизмы, ведущие к межпоколенческой репродукции этого пониженного, дегенеративного статуса. Указанное явление обсуждается в более широком контексте перемен общественного строя, протекание которых послужило одной из причин (хотя и не единственной) деградации отдельных сегментов общества.

Последняя глава посвящена проблематике патологий публичной жизни. Прежде всего, непосредственно самим патологическим явлениям (в частности, коррупции, а также организованной преступности), но помимо этого еще и причинам возникновения всевозможных патологий и их последствиям для качества демократии, гражданской культуры и для эффективности функционирования различных институтов публичной жизни.

Сфера охвата данного учебника наверняка не исчерпывает всей проблематики, которую следовало бы учесть при рассмотрении публичной жизни. Но можно надеяться, что представленные далее знания касаются того круга вопросов, который в первую очередь интересует граждан, желающих активно участвовать в публичной жизни.

Наряду с печальным опытом прошлого, а прежде всего ужасами XX века с его мировыми войнами, идеологическими безумствами и этническими чистками, которые могли бы склонять к пессимизму, существуют и основания для умеренного оптимизма. *Errando discimus* (ошибаясь, мы учимся). Можно предполагать, что эта древняя поговорка содержит в себе житейскую мудрость — однако при том условии, что об ошибках не забывают (по крайней мере, в следующем поколении), а память о прошлом сопровождается более глубоким — а не просто обиденным и поверхностным — познанием механизмов тех общественных явлений, которые происходят на наших глазах. Довольно распространенное в масштабах всего мира отступление от авторитаризма может быть интерпретировано как результат учебы на ошибках прошлого, а знания, почерпнутые из сокровищницы достижений общественных наук, могут трактоваться в качестве такого инструмента, благодаря которому мы становимся более устойчивыми к авторитарным искушениям и соблазнам, ибо лучше понимаем как ошибки,

совершенные в прошлом, так и современные нам тенденции и явления, частью которых мы являемся. А лучшее понимание механизмов, управляющих публичной жизнью современных обществ, позволяет перейти к следующему шагу, а именно к рефлексии — на основании существующих к этому моменту знаний — над возможностями создания «дружелюбного государства» или же над направлениями таких изменений, которые могли бы в итоге привести к возникновению «дружелюбного общества» и к хорошей жизни в нем. А это в какой-то степени приближает нас к видению Фрыча Моджевского, иначе говоря к многовековой мечте о собственном государстве, справедливом и эффективном, граждане которого имеют шанс «жить хорошо и счастливо, честно и благородно».

ГЛАВА I

ТЕОРИИ РАДИКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ¹

Введение

То обстоятельство, что учебник, посвященный социологии публичной жизни, начинается с теории радикального общественного изменения, а также с описания волны демократических революций, которые на исходе минувшего столетия прокатились по значительной части планеты, имеет свое сущностное обоснование. Прежде всего, публичная жизнь в демократическом национальном государстве принципиально отличается от публичной жизни в недемократическом государстве. Различия настолько фундаментальны, что в данном случае мы можем говорить о двух качественно различных типах организации публичного пространства. Следовательно, рассмотрение публичной жизни должно быть отнесено к какому-либо одному из этих двух типов. Но в рамках демократических систем некоторые из демократий молоды, а наследие предыдущей, недемократической системы все еще продолжает там присутствовать не только в «институциональной памяти», но и в общественной ментальности, а это приводит к тому, что и публичная жизнь такого общества тоже имеет свою специфику, которую нельзя игнорировать. Значительную часть подобной специфики можно объяснить процессом перехода от недемократической системы к демократии. Указанный процесс наряду с определенными универсальными свойствами насыщен также такими

¹ Переводчик выражает благодарность д-ру полит. наук, директору Института политических исследований «Палітычная сфера», гл. редактору журнала на белорусском языке «Палітычная сфера» («Политическая сфера») А. Н. Казакевичу за помощь в редактировании текста данной и ряда других глав, а также за отдельные полезные замечания, высказанные при этом или в ходе дискуссий.

чертами, которые носят сугубо местный, частный характер, будучи укорененными в традиции и истории конкретного народа. Универсальные признаки перехода к демократии поддаются теоретическому обобщению, но о специфически местных, локальных признаках это уже нельзя утверждать с уверенностью.

Переход к демократии характеризуется двумя процессами. Один можно назвать либерализацией, а второй – демократизацией. Несомненно, синхронное протекание этих процессов весьма повышает вероятность благополучного перехода к демократии. Однако их детальному разъяснению необходимо предпослать более широкую панораму демократических революций, свидетелями которых мы были в Европе и Латинской Америке, в Азии и Африке. Словом, имеет место глобальная тенденция, в рамках которой надлежит найти место и для переходов к демократии, наблюдавшихся в регионе Центральной и Восточной Европы. Таким образом, встает вопрос, можно ли эту глобальную тенденцию уложить в какие-то теоретические рамки и имеет ли она общую причину (либо причины).

Сколько-нибудь полному ответу на данный вопрос должно предшествовать введение в современные и классические теории демократии, а также рассмотрение основных аналитических понятий, позволяющих описать демократическую систему. Лишь на таком основании можно разумным, осмысленным способом описывать вышеуказанную глобальную тенденцию конверсии (преобразования) авторитарных режимов в демократические.

В свою очередь, описание демократического порядка вместе с функционирующими в нем правилами игры выглядит подвешенным в социальном вакууме, если ему не предпосланы размышления над природой закрытых и открытых обществ. Здесь мы будем ссылаться на Карла Поппера (Karl Popper) и его знаменитое исследование, посвященное родословной открытого общества¹.

Какая-то часть демократических систем появилась путем долговременной, затяжной эволюции. Однако большинство стало результатом кардинального общественного изменения. Такое

¹ Имеется в виду его сочинение «The Open Society and Its Enemies», v. 1–2 («Открытое общество и его враги», т. 1–2, 1945), которое в 1992 году было переведено на русский язык (подробнее см. раздел «Библиография»). Далее в этой главе автор достаточно подробно рассматривает указанную работу.

максимально радикальное общественное изменение, в результате которого происходит полная замена старого строя новым, обычно называется революцией. Переходы к демократии, имевшие место в конце минувшего столетия, характеризовались именно такой радикальностью и исторически быстрой (а следовательно, неэволюционной) продолжительностью. Но это не были классические революции, к которым нас приучила история. С точки зрения классических теорий революции они характеризовались — в большинстве случаев — нетипичным протеканием. Их итогом стало появление молодых демократий, публичной жизни которых свойственны некоторые особенности. Дело в том, что для формы публичной жизни в подобных демократиях безразличен не только путь, каким они шли (а таковых может быть по меньшей мере несколько), но также точка старта, иными словами природа той недемократической системы, от которой началось и далее происходило их продвижение к демократии. Поэтому необходимо разъяснить специфику демократических революций на фоне революций классических, а также представить актуальные теоретические переосмысления различных взглядов, относящихся к революции как явлению. Таким способом мы подошли к началу главы, которое вместе с тем представляет собой начало отмеченного выше увлекательного путешествия от порабощения к свободе огромных масс людей, особенно из стран бывшего советского блока.

Формы радикального изменения общественного строя

Что собой представляет радикальное изменение общественного строя и чем оно отличается от «обыкновенного» изменения, происходящего в обществе? Почему у нас сложилась привычка какие-то одни радикальные изменения характеризовать наименованием «революция», а другие описывать как бунты, восстания, свержения, государственные перевороты, путчи или мятежи? Должны ли терминологические несовпадения этих названий всего лишь обозначать идеологическое отношение к тому или иному радикальному изменению или же они затрагивают некие существенные различия, скрывающиеся за теми названиями, с помощью которых определяются данные явления? Почему бы, наконец, всю эту категорию изменений не характеризовать именем «революция», иначе говоря понятием, которое издавна функционирует

как в академических теориях, так и в разговорном языке? Ответы на эти вопросы позволят не только обосновать и оправдать применение понятия «радикальное изменение строя», но и сделают также возможным уточнение иных понятий, значение которых очень часто бывает нечетким, расплывчатым, а вдобавок исторически изменчивым.

Прежде всего, стоит заметить, что термин «революция» содержит в себе весьма сильный аксиологический заряд, чтобы не сказать идеологический. К примеру, Баррингтон Мур-мл. (*Moore Jr.*, 1978) резервирует понятие «революция» исключительно для тех общественных изменений, которые в результате приносят модернизацию общественной структуры, сокращение социальной несправедливости, увеличение свободы и эмансипацию тех сегментов общества, которые перед революцией принадлежали к числу обделенных, ущемленных, обиженных слоев¹. Кстати, подобным же образом думала о революции Ханна Арендт, добавляя, однако, при этом, что свержение старого, несправедливого порядка, вообще говоря, связывается с применением насилия (*Arendt*, 1991). Однако исследователи в большинстве случаев не употребляют определений, в которых столь сильно выражен их оценочный характер, ибо в общем и целом наименованием «революция» характеризуют *бурное и внезапное изменение общественного порядка вместе с правилами его функционирования, а также с принципами системной стабилизации и репродукции.*

Однако в истории (особенно новейшей) известны стремительные и резкие изменения общественного порядка, которые не сопровождались ни насилием, ни даже всеобщей мобилизацией масс. Глубина системных изменений не была в подобных случаях меньшей, но все-таки интуитивно мы испытываем трудности с названием такого изменения революцией. Эти трудности коренятся в традиции, которая выработала у нас привычку ассоциировать революцию с реющими знаменами, баррикадами и кровавыми жертвоприношениями — с жертвами, становящимися мифом, который закладывается в фундамент нового общественного порядка. Но это всего лишь привычка, являющаяся следствием истори-

¹ Популярнее более броское замечание Б. Мура, что революции часто рождаются не из победного клича восходящих классов, а из предсмертного рева тех социальных слоев, над которыми вот-вот сомкнутся волны прогресса.

ческого протекания классических революций. Поэтому более полезным представляется в данном случае нейтральное определение «радикальное изменение общественного строя». Это название было бы приложимо ко всем тем разновидностям общественных изменений (безотносительно к их конкретному ходу), в результате которых старый общественный порядок рушится, поскольку перестали эффективно действовать механизмы его стабилизации и репродукции, а на развалинах старой системы вырастает новый порядок, характеризующийся совсем иными правилами игры, которые обеспечивают его стабилизацию и репродукцию. В таком контексте революция была бы одной из форм радикального изменения общественного строя, хотя надо признать, что формой максимально эффективной, наглядной и зрелищной, так как она выстраивает в коллективной памяти очень отчетливую цезуру между старым и новым порядками. Радикальное изменение общественного строя должно также охватывать те процессы, которые лишь в небольшой степени напоминают классические революции, но все-таки ведут к изменению общественного порядка. В первую очередь я имею здесь в виду «демократические революции» на исходе XX века, которые проходили скорее в кабинетах и залах заседаний, чем на улице (о них пойдет речь в дальнейшей части данной главы).

Классические революции

История знает много эпизодов, которым современники присваивали наименование революции (чаще всего еще с каким-нибудь прилагательным), но по-настоящему радикальных и бурных изменений, в результате которых возникал абсолютно новый общественный порядок, было немного. Исторически – пожалуй, в первый раз – понятие «революция» появилось применительно к событиям 1688–1689 годов в Англии, именовавшимся *Glorious Revolution* (Славная революция), когда в итоге там была установлена конституционная монархия, сильно ограничивавшая власть короля, а основанием легитимности власти, которую королю с этого момента предстояло делить с сильным парламентом, явился Билль о правах (*The Bill of Rights*), составляющий и донныне в Великобритании важный документ конституционного характера. Тем не менее, однако, *Glorious Revolution* ввела всего лишь нововведения в феодальную систему, которая пережила эти события и благополучно

сохранилась. Таким образом, это была не революция в том значении, которое мы придаем данному понятию сегодня, а скорее глубокая реформа всей системы власти¹.

Незадолго до конца XVIII века имели место два события, которые по праву называли революциями, ибо в результате каждого из них старый общественный порядок не только оказался заменен новым, но указанные перипетии еще и сопровождались кровопролитием, а также разрушением старых общественных иерархий и их заменой на новые. Хронологически первым из них была Американская революция (1775–1783), в результате которой возникли Северо-Американские Соединенные Штаты {(так именовались США в русском языке вплоть до середины XX века)}, учрежденные на основании двух документов, составивших и продолжающих составлять нормативную базу нового общественного порядка: Декларации независимости (1776), а также Конституции Соединенных Штатов (1787). Вторым событием такого же ранга была Великая французская революция (1789–1799), в результате которой феодальный порядок в этой стране оказался свергнутым. Принятая во Франции в 1789 году Декларация прав человека и гражданина явилась в тогдашнем историческом контексте революционным переломом, поскольку она подтверждала, среди прочего, принцип равенства всех граждан перед законом (независимо от их общественного статуса), а также принцип свободы слова. Развитие событий после того, как Великая французская революция разразилась, было бурным и полным самых разных поворотов и превратностей: в 1791 году там провозгласили конституционную монархию, через год – Первую республику. В 1793 году власть захватили якобинцы, которые выступили инициаторами революционного террора и диктатуры, что привело к хаосу, а в 1799 году – к государственному перевороту ген. Бонапарта, в 1804 году провозгласившего себя императором. Тем не менее влияние Великой французской революции на формирование понятий гражданства, демократии и прав человека трудно переоценить.

Китайская революция (1911–1913) привела к свержению маньчжурской династии Цин и провозглашению Китайской Республики. В 1912 году Сунь Ятсен основал новую партию (Гоминьдан),

¹ Сейчас в русскоязычной литературе, как правило, принято считать эти события, завершившиеся свержением короля Якова II и утверждением на престоле Вильгельма III Оранского, государственным переворотом.

которая группировала сторонников демократической формы республики. Перелом был совершен, хотя последовавшие за этим гражданские войны, расколы, мятежи и восстания не привели к возникновению стабильного и способного к репродукции общественного порядка вплоть до захвата власти коммунистами под предводительством Мао Цзэдуна.

Февральская революция в России (1917) свергла царизм и провозгласила демократический строй, но тогдашние революционные элиты не сумели взять под контроль хаос, вызванный падением царизма и Первой мировой войной, и это привело в октябре 1917 года к тому, что революционной стихией овладели большевики и лишили Временное правительство власти; это сделал Ленин, который провозгласил «диктатуру пролетариата». Таким образом, из Февральской революции выросла коммунистическая система, которая сохранялась в России вплоть до начала 1990-х годов и оставила свой отпечаток на всем облике мира в XX веке.

В 1979 году мы были свидетелями исламской революции в Иране, когда контрэлита, состоящая из мусульманских священнослужителей во главе с Хомейни и поддерживаемая мобилизованными массами, свергла режим шаха Реза Пехлеви и образовала исламскую республику, иначе говоря теократический строй, управляемый в соответствии с законами Корана (шариатом). Иранская исламская революция стала импульсом к созданию теократических правительств в нескольких других мусульманских государствах.

Это, разумеется, не все радикальные изменения общественного строя, которые приняли форму классической революции. Достаточно указать, в частности, на следующие революции: бельгийскую (1830), краковскую (1846), февральскую революцию (1848) во Франции, мартовскую революцию (1848) в Вене и Берлине, мексиканскую революцию (1910–1917). Все эти события были попытками свержения старого порядка (чаще всего удачными) и установления нового общественного порядка, что уже не всегда протекало в согласии даже с самыми общими программными принципами революционных элит; однако значение данных изменений носило местный, локальный характер.

Революция представляет собой процесс, который — будучи однажды запущенным в ход — приобретает собственную динамику, не поддающуюся до конца контролю со стороны кого-нибудь из акторов этой драмы (индивидуального или группового). Нет у нее также единственного режиссера, а ее результат носит

неопределенный характер. Вот как писал де Токвиль в середине XIX века о Великой французской революции: «Во Франции перед началом Революции ни у кого не было ни малейшей мысли о том, что ей надлежит свершить» (Токвиль, 1994: 32; в рус. пер. с. 10)¹. Трудно сказать, что будет потом, но повсеместно известно, что дальше так быть не может, — это и есть то состояние духа у масс и контрэлиты, которое создает предреволюционное напряжение, когда достаточно всего лишь невинного предлога, чтобы запустить выступления, дающие начало революции. Такая внутренняя динамика революционного процесса создается в отношениях между массами — а точнее той их частью, которая отобилизована и готова к совместным выступлениям, — и элитами (иначе говоря, элитой старой системы, а также контрэлитой, не только выступающей против старой элиты, но и оспаривающей старый общественный порядок и ставящей его под сомнение). Революция по определению не протекает в рамках традиционных (установленных обычаем) или же юридических правил игры старого порядка, ибо эти правила тоже подвергаются сомнению, делегитимируются и в конечном итоге отвергаются контрэлитой. «Революция в границах права» — это *contradictio in adjecto* (логическое противоречие), нечто такое же, как «сухая вода» или «аромат без запаха».

Если старая элита заменяется отвергающей ее контрэлитой при одновременной пассивности масс, то мы имеем дело с государственным переворотом, или «дворцовой революцией». Если старую элиту отвергают массы, но контрэлита отсутствует или же существующая контрэлита не вступила в союз (как минимум тактический) с протестующими массами и осталась пассивной, то мы также имеем дело не с революцией, а всего лишь с мятежом либо бунтом, который раньше или позже будет подавлен старой

¹ См. главу I «Противоречивые суждения, вынесенные о революции в самом ее начале» книги первой указанного сочинения. В польском тексте эта фраза звучит так: «Во Франции накануне революции никто в точности не отдает себе отчета в том, что из нее получится». Принимая во внимание, что данная книга писалась ее автором как учебник, а также наше решение уделять повышенное внимание терминологии и ее вариантам, было сочтено целесообразным давать используемые автором цитаты из классических работ не только в переводе с польского текста (который, разумеется, сам является переводом с английского или немецкого и т.д., а иногда даже двойным переводом), но и приводить там, где это возможно, прямой русский перевод.

элитой. Революционный процесс может начаться в тот момент, когда контрэлита обретает лояльность отобилизованных масс, отказывающихся старой элите в повиновении, или же в ситуации, когда массы, мобилизованные в протестном порыве, оказываются в состоянии быстро выдвинуть контрэлиту, по отношению к которой они лояльны даже в ситуации серьезного риска (включая сюда риск ущерба для здоровья или даже утраты жизни).

Большие, по-настоящему великие революции приносят последствия, перешагивающие далеко за пределы локального контекста, а также уходящие далеко за горизонт воображения всех их участников. Неудачные революции порождают среди своих участников миф, к которому в случае чего могут обращаться, если это понадобится, следующие поколения, уже не помнящие по собственному опыту тогдашней горечи поражения и не скованные по рукам и ногам парализующим чувством нереальности цели, которая преобразуется в миф. Тем временем, пишет де Токвиль, «великие революции, увенчанные победой, укрывая причины, породившие их, становятся, таким образом, абсолютно недоступными пониманию именно благодаря своему успеху» (*Tocqueville*, 1994: 34; в рус. пер. с. 12)¹.

Задумавшись в этой связи, можно ли на основе протекания известных из истории «классических» великих революций аналитически выделить их причины. А если да, то являются ли указанные причины такими, которые — коль скоро они появляются — в любых общественных условиях ведут к революционному взрыву.

Многие исследователи революций пытались уловить эти причины и придать им теоретическую ценность — иными словами, построить такую модель, на основании которой можно было бы с высокой вероятностью прогнозировать вспышку революции. Среди таких причин указывали плохие и коррумпированные правительства, унижительное военное поражение, голод, чрезвычайно высокий уровень безработицы, слишком высокие налоги, исключение больших сегментов общества из каких-то статусных позиций, сфер или должностей (иначе говоря, существование граждан

¹ Это заключительная фраза из той же главы I «Противоречивые суждения, вынесенные о революции в самом ее начале». В польском тексте данная фраза звучит следующим образом: «Удачные великие революции, устраняя причины, которые их вызвали, становятся непонятными из-за своих собственных побед».

второй категории) и т.д. Сразу же нужно констатировать, что среди подобных попыток теоретизирования по поводу причин революций не нашлось удачных. Поскольку можно без труда показать, что каждая из перечисленных выше причин в одних исторических условиях приводила к началу революции, а в других — нет. Плохие и коррумпированные правительства иногда бывают свергнуты под напором революционного кипения, тогда как в других случаях они продолжают долго оставаться у власти и никакая революция им не угрожает. Очень высокая безработица может, правда, способствовать возрастанию радикализации общественных настроений, но отнюдь не обязательно должна вести к революции — точно так же как социальная и политическая маргинализация количественно значительных категорий людей. Даже голод и непосредственная угроза для жизни многих миллионов человеческих существ не может считаться стопроцентной причиной для начала революции, о чем свидетельствует не только апатия тех групп населения, которые периодически страдают от катастрофического голода в Субсахарской Африке, но также относительная пассивность масс в 30-х годах XX века на Украине, когда форсируемая Сталиным коллективизация деревни довела до чудовищного голода, сбравшего многомиллионную жатву смерти.

Сказанное не означает, однако, что мы совсем беспомощны в познавательном плане. Может быть, построение теоретических моделей, которые бы наверняка и без сбоев предвидели приход революции, действительно слишком амбициозная задача, если исходить из реальных возможностей общественных наук. Однако это не освобождает нас от обязанности заниматься теоретизированием по поводу причин революции — как минимум с целью лучше понять революции, уже имевшие место, а также лучше подготовиться в познавательном плане к тем революционным событиям, которые еще только могут наступить в разных местах планеты.

Многосторонние попытки разобраться в том сложном процессе, каким является революция, и понять его, можно свести к двум теоретическим традициям, исходящим из совершенно разных предпосылок. Первая из них — это Марксова традиция, тогда как вторая ведет свою родословную от Алексиса де Токвиля.

Диагноз Маркса, изложенный в «Коммунистическом манифесте», содержит предвидение того, что растущее угнетение пролетариата достигнет наконец критической точки, когда рабочие осознают, что им уже нечего терять, «кроме своих цепей» (*Marks*,

1949). Тогда-то и родится бунт, который положит начало революции. В ее результате рабочий класс свергнет общественный порядок, созданный буржуазией и ставящий ее в привилегированное положение. Следствием пролетарской революции станет изменение характера классового господства, потому что рабочий класс сменил буржуазию в этом привилегированном положении и займет ее место. Ту самую буржуазию, что в свою очередь свергла когда-то феодальный строй и отменила привилегии, которыми при феодальном строе с удовольствием пользовалась аристократия. При взгляде под таким углом зрения основной и первичной причиной великих революций является борьба социальных классов, а мотором, толкающим массы к революции, выступает свержение того общественного порядка, при котором противоречия между производительными силами и производственными отношениями настолько велики, что их не удастся ликвидировать без революционного изменения всего общественного устройства. Другими словами, революция вспыхивает в тот момент и в той ситуации, когда прогресс производительных сил призывает к жизни новый, многочисленный общественный класс (подобно тому как ранний капитализм создал неизвестный феодальному строю рабочий класс), эксплуатируемый при старом общественном порядке тем классом, который когда-то создал этот порядок (вместе с действующими в нем обязательными правилами игры) и ныне господствует в его рамках. Ибо словно бы по определению тот порядок, который рожден определенным общественным классом, построен таким образом, чтобы интересы данного класса оберегались и защищались как можно лучше. Тем самым революции представляют собой форму разрядки постепенно нарастающих противоречий классового характера, поскольку иным способом успокоить и снять их невозможно.

Алексис де Токвиль подходит к объяснению главных причин революции совершенно иначе. На основании внимательного изучения источников Великой французской революции, ее протекания и результатов он приходит к парадоксальным, на первый взгляд, выводам. Токвиль пишет: «...французам их положение казалось тем более невыносимым, чем больше оно улучшалось. <...> К революциям не всегда приводит только ухудшение условий жизни народа. Часто случается и такое, что народ, долгое время без жалоб переносивший самые тягостные законы, как бы не замечая их, мгновенно сбрасывает их бремя, едва только тяжесть его

несколько уменьшается. Общественный порядок, разрушаемый революцией, почти всегда лучше того, что непосредственно ему предшествовал, и, как показывает опыт, наиболее опасным и трудным для правительства является тот момент, когда оно приступает к преобразованиям. Только гений может спасти государя, предпринявшего попытку облегчить положение своих подданных после длительного угнетения. Зло, которое долго терпели как неизбежное, становится непереносимым от одной только мысли, что его можно избежать. И кажется, что устраняемые злоупотребления лишь еще сильнее подчеркивают оставшиеся и делают их еще более жгучими: зло действительно становится меньшим, но ощущается острее» (*Tocqueville*, 1994: 188; в рус. пер. с. 140)¹. Эта цитата позволяет нам проникнуть в самую суть новаторского и многое объясняющего наблюдения Токвиля. Оказывается, революционное брожение представляет собой результат присущего человеку довольно тонкого психологического механизма, а именно: в умах людей должна наступить переориентация или переосмысление ситуации, заключающиеся в качественном изменении критериев оценки социальной реальности; то, что казалось неотвратимым, оценивается теперь как случайное, то, что выглядело

¹ Это отрывок из перевода на русский главы IV «О том, что царствование Людовика XVI было эпохой наибольшего процветания старой монархии и каким образом это процветание ускорило революцию» книги третьей указанного сочинения. В польском тексте данный фрагмент звучит следующим образом: «Французам их положение казалось тем более невыносимым, чем в большей степени оно улучшалось. <...> Революция не всегда вспыхивает в тот момент, когда тем, кому было плохо, начинает становиться еще хуже. Чаще всего происходит так, что народ, который без слова жалоб, словно бы с полным безразличием, выносил самые обременительные законы, бурно отвергает их, когда их тяжесть несколько облегчается. Строй, который революция свергает, почти всегда бывает лучше того, который ему непосредственно предшествовал, а опыт учит, что наиболее опаснейшей минутой для плохого правительства бывает обычно та, когда оно начинает проводить реформы. Только огромная личная гениальность может спасти власть после облегчения судьбы своих подданных, осуществленного вслед за длительным периодом угнетения. Зло, которое люди терпеливо сносили как неизбежное, кажется невыносимым с того момента, когда в умах начинает брезжить мысль, что можно вырваться из-под его гнета. Словно бы каждое ликвидированное в это время злоупотребление позволяет тем отчетливее увидеть остальные, еще более усиливая впечатление их докучливости. Да, зло стало меньшим, это правда, но чувствительность к злу углубилась».

крайне нужным, перестает считаться необходимым, то, что представлялось нереальным, становится, по субъективной оценке, вполне осуществимым. Такая переоценка не появляется в том случае, если человек вынужден в прямом смысле слова бороться за выживание, ибо тогда он полностью поглощен проблемами добывания элементарных средств к существованию для себя и своей семьи. А возможна она лишь в момент, когда определенные обременения оказываются ликвидированными, так как именно в такую минуту рождается мысль, что и остальные жизненные неудобства тоже удастся устранить. Причем эти обременения совсем не обязательно должны быть одинаковыми для всех. Скорее напротив: для одних (самых бедных) это будет вопрос приобретения хлеба и молока для голодающего ребенка, для других – избавление от унижительного общественного статуса, для третьих – освобождение от даней, податей и налогов, не позволяющих удовлетворить сильно ощущаемые потребительские запросы и устремления. Таким образом, в разных социальных слоях причины недовольства могут быть (и, как правило, действительно бывают) разными, но общим знаменателем выступает фрустрация, ощущаемая еще более болезненно, если ей сопутствует мысль, что дела могут обстоять иначе, поскольку опыт говорит о возможности какого-то улучшения ситуации. А когда эта мысль находит в обществе широкое распространение, то именно в такое время и наблюдается наибольшая вероятность революционного взрыва.

Итак, с одной стороны, мы имеем тезис Маркса, что революция вспыхивает, когда угнетение эксплуатируемых классов достигает некоторой (впрочем, никак конкретно не уточняемой) критической точки, – иными словами, когда нарастающий регресс достигает такого уровня, на котором угнетенным людям (пролетариату) уже все равно. При взгляде сквозь такую призму революция представляет собой рефлекторную реакцию отчаяния, нацеленную в старый общественный порядок, хотя в более общей историософии Маркса она должна разразиться обязательно и неизбежно, так как логика истории – это очередные переходы от одной общественной формации к другой, осуществляемые посредством революций, которые возбуждаются новыми производительными силами. С другой стороны, мы имеем тезис де Токвиля, гласящий, что революционный взрыв наиболее вероятен, когда угнетение слабеет, а угнетаемые массы могут кое-что потерять из-за революции (и, в общем-то, теряют), но все-таки выиграть могут еще

больше. В этом случае революция является совместным, коллективным действием вследствие внезапного резкого роста запросов и устремлений, реализация которых в условиях старого общественного порядка невозможна и недостижима.

Поначалу кажется, что оба эти подхода не могут одновременно быть правильными, поскольку различия между ними фундаментальны. И действительно, если мы станем трактовать их как интерпретацию некоторого состояния дел, абстрагируясь от того факта, что это состояние дел представляет собой фрагмент какого-то более широкого и чрезвычайно сложного процесса, то тогда примирить их не удастся. Если же, однако, мы подойдем к данному вопросу как к определенному процессу, который длится во времени и который необязательно должен носить линейный характер, тогда эти два взаимно противоречащих утверждения можно признать различными аспектами одного и того же явления, а именно нарастания противоречий (проигнорируем пока их природу), ведущих к революционному взрыву. Попытку примирения обеих вышеизложенных теоретических позиций предпринял Джеймс К. Дэвис (J. C. Davies). В своем анализе он приходит к следующему заключению: «Легче всего дело может дойти до революции в ситуации, когда после достаточно длительного периода экономического и социального развития наступает короткий период резкого регресса. В течение первого периода самым важным является создание в умах людей, живущих в данном обществе, убеждения, что имеются устойчивые возможности удовлетворения их потребностей, которые неустанно растут, тогда как в течение второго периода — ощущения беспокойства и разочарования, когда существующая реальность не отвечает реальности ожидаемой. Текущее состояние общественно-экономического развития менее важно, чем убеждение, что былой прогресс — сейчас затормозившийся — может и должен быть продолжен в будущем» (Davies, 1975: 390). Дэвис объясняет механизм революции через неудовлетворенные потребности, а точнее через расхождения между запросами и устремлениями, с одной стороны, и реальными возможностями их достижения — с другой. В соответствии с его теорией запросы всегда несколько опережают уровень удовлетворения потребностей, потому что запросы растут быстрее, нежели возможности их достижения. Когда разница между запросами и уровнем удовлетворения потребностей относительно постоянна и не очень велика, вероятность революционного взрыва минимальна. Она резко возрастает, когда

эта разница внезапно увеличивается, а увеличивается она обычно в тех случаях, когда запросы растут в своем умеренном и относительно постоянном темпе, тогда как возможности реального удовлетворения потребностей падают ниже уже достигнутого уровня. Когда кривая роста запросов постоянно идет вверх, а кривая роста удовлетворения потребностей не только не поспевает за ней, но и начинает падать, следует — по мнению Дэвиса — считаться с возможностью революционного взрыва.

Эта теория имеет, естественно, свои ограничения, а наибольшая ее слабость состоит в абстрагировании от природы той общественной системы, которую такая революция должна была бы свергать. Об этих вопросах речь пойдет в дальнейшей части данного учебника, но уже здесь можно констатировать, что авторитарные системы, а тем более системы тоталитарные, которые полностью контролируют пространство публичной жизни и способны манипулировать запросами и устремлениями масс таким способом, чтобы удерживать имеющиеся запросы на безопасно низком уровне или даже понижать его (например, с помощью такой социотехники, как пропаганда угрозы со стороны внешнего либо внутреннего врага и, соответственно, необходимости самопожертвования и лишений, связанных с устранением этой угрозы), сохраняя тем самым запросы и устремления на уровне, мало отличающемся от реального уровня текущего удовлетворения потребностей. Другой слабостью является абстрагирование от функционирующих в данном обществе принципов социальной справедливости, на основании которых можно одобрять либо опротестовывать и ставить под сомнение законность существующего неравенства и привилегированного места определенных статусных должностей или даже целых социальных классов. Позиция Дэвиса не учитывает также самой природы того общества, к которому должны относиться его теоретические положения, и в этом смысле его точка зрения представляет собой внеисторическое теоретизирование на тему революции. Запросы и потребности формируются по-разному в современных и традиционных обществах, или, другими словами, в сильно урбанизированных постиндустриальных обществах и в обществах аграрных. Дело в том, что в них функционируют совсем разные типы социальных связей, а публичная жизнь регулируется качественно разняющимися нормами. Чтобы учесть данный фактор, нам необходимо ввести предложенное Карлом Поппером (Karl Popper, 1902–1994) разделение на закрытые и открытые общества.

Общества открытые и закрытые

Закрытым обществом Поппер (*Popper*, 1984: 173) называет три типа обществ: 1) примитивные первобытные, основывающие свою систему верований на магии; 2) племенные; 3) коллективистские. В закрытом обществе индивид без коллектива ничего собой не представляет, а его место в иерархии статусов задано и, по сути дела, неизменно. В обществе такого типа перевешивают родственные связи или связи коллективистские, представляющие собой эквивалент традиционных родственных связей (с сильным и ясным различием **свой—чужой**, иначе говоря **враг**). «Закрытое общество, — пишет Поппер, — сходно со стадом или племенем в том, что представляет собой полуорганическое единство, члены которого объединены полубиологическими связями — родством, общей жизнью, участием в общих делах, одинаковыми опасностями, общими удовольствиями и бедами» (*Ibid.*; в рус. пер. т. 1, с. 218)¹. В такой общности доминирует магическая или иррациональная установка по отношению к обычаям, принятым в совместной жизни, а также ригоризм в соблюдении указанных обычаев. Это, разумеется, не означает, что закрытое общество статично. В его пределах тоже происходят изменения, говорит Поппер, но, во-первых, они случаются редко, а во-вторых, обнаруживают много черт религиозной конверсии либо аверсии или же создания новых магических табу (*Ibid.*: 172). Эти изменения не вытекают из рационального обозревания действительности и попыток усовершенствовать условия жизни, поскольку рационализм не является частью данного общественного порядка. В качестве строгих регуляторов коллективной жизни выступают установленные обычаями традиционные нормы, а также разнообразные табу. По этой же причине член подобного общества редко испытывает сомнения в том, каким образом ему следует действовать; «надлежащее» действие установлено обычаями и отношением к табу. В закрытом обществе индивид не должен ничего выбирать, так как при этом типе социального

¹ В польском тексте эта фраза звучит следующим образом: «Закрытое общество напоминает первобытную орду или племя, потому что оно представляет собой наполовину органическое целое, члены которого тесно скреплены между собой благодаря наполовину биологическим узам — родству, совместной жизни, разделению совместных усилий, совместных опасностей, совместных радостей и совместных страданий».

порядка существует не слишком много места для мышления в категориях альтернативы. Индивид, по сути дела, лишен возможности выбора и, как правило, не осознает этого факта. А коль скоро у него нет выбора, то нет также и индивидуальной ответственности.

Открытое общество не носит столь «органического» характера, как общество закрытое. Оно является обществом в том абстрактном смысле, что в значительной степени (хотя и не полностью) теряет характер реальных групп людей или федераций таких групп. Растущая часть взаимоотношений и зависимостей носит деперсонализированный, деловой характер, при этом ограниченный той социальной ролью, в рамках которой указанные взаимоотношения завязываются. Такого рода взаимоотношения чаще всего ограничиваются транзакциями (сделками) обмена и кооперирования, тогда как их эмоциональный компонент или вообще отсутствует, или сведен к минимуму. Индивиды становятся все более и более анонимными, а социальная изоляция — по сравнению с закрытым обществом — велика. В связи с существованием многих возможностей, функционирующих в публичной жизни, индивид оказывается вынужденным выбирать. Вместе с выбором появляется проблема личной ответственности. Увеличивается не только сфера выбора, перед которой стоит индивид, но и сам выбор также во все большей степени становится рациональным, а очередные табу теряют свои функции регулятора общественной жизни. Коллективизм вытесняется индивидуализмом. Падение закрытого общества как единственной формулы совместной, коллективной жизни и появление уже в древности первых открытых обществ распахнуло перед человеком совсем новые горизонты коллективной жизни, а в публичную жизнь ввело конфликт, гонку за занятие тех или иных социальных позиций и проблему правомочности власти. «Переход от закрытого общества к обществу открытому, — говорит Поппер, — можно охарактеризовать как одну из глубочайших революций, через которые прошло человечество» (Popper, 1984: 175; в рус. пер. т. 1, с. 220). Но это не была революция, принесшая людям счастье и беззаботную жизнь. Напротив, появление открытого общества разрушило чувство безопасности, вытекающее из принадлежности к закрытой и статичной общности, подорвало многие из эмоциональных связей, типичных для закрытого общества (которые, в принципе, сегодня сохранились только в семьях, да и то не во всех), поколебало иерархию статусов, возложило на индивидов бремя ответственности за свою жизнь, а в первую очередь

изменило оптику восприятия всей организации общественного порядка: из неизменной и заданной не очень-то внятно определенными и, как правило, магическими внешними силами — на изменчивую и составляющую продукт самого общества. «Случилось так, что мы однажды стали полагаться на разум и использовать способность к критике, — пишет Поппер, — и, как только мы почувствовали голос личной ответственности, а вместе с ней и ответственности за содействие прогрессу знания, мы уже не можем вернуться к государству, основанному на бессознательном подчинении племенной магии. Для вкусивших от древа познания рай потерян» (*Popper*, 1984: 200; в рус. пер. т. 1, с. 247–248). Потеря той мифической Аркадии, той естественной и простой жизни, по которой тосковал еще Ж.-Ж. Руссо, явилась ценой, которую пришлось заплатить за возможность выбора, за освобождение себя от исторического фатализма и от иррациональных форм поведения, за рациональный критицизм и самокритичность, за замену приписываемого, назначаемого статуса на статус достигаемый и за рост влияния на то, каким образом складываются собственные жизненные пути, а также условия совместной, коллективной жизни. Такова была цена открывшихся перед людьми новых горизонтов, после достижения и преодоления которых оказалось возможным не только придать качественно новый импульс экономическому и технологическому развитию, но также отыскивать пути к демократии и положить начало подлинной эволюции статуса человеческой личности в направлении к ее сегодняшним гражданским и человеческим правам.

Главные типы современных режимов по Линцу и Степану

Хуан Хосе Линц и Альфред Стéпан (*Linz, Stepan* 1996: 44–45) выделяют и различают следующие типы современных политических режимов: 1) демократию; 2) авторитаризм; 3) тоталитаризм; 4) посттоталитаризм; 5) султанизм. Разумеется, тут представлены идеальные типы в веберовском смысле, а это означает, что их теоретическое описание, отнесенное к эмпирически наблюдаемым случаям, как правило, проявляет какие-то отклонения. Однако в реально существующих режимах основные характерные черты определенного типа остаются неизменными, что позволяет соотносить приведенную типологию с эмпирически наблюдаемыми режимами.

Поскольку теориям демократии, как и самой демократии, посвящен следующий раздел данной главы, то здесь характеристика этой системы не затрагивается, и мы сосредоточимся на описании остальных четырех типов. Представленная Линцем и Степаном характеристика учитывает четыре аспекта каждой из систем: степень плюрализма, роль идеологии, способы мобилизации масс, а также вид политического лидерства.

Авторитаризм характеризуется ограниченным плюрализмом в политическом измерении, однако это не такой плюрализм, который бы генерировал альтернативные политические опции, добивающиеся власти. Именно поэтому данный плюрализм является ограниченным, так как механизм конкурентной борьбы за власть здесь отключен и не угрожает авторитарной власти. Даже если он принимает форму разрешенной оппозиции. В общественной и экономической сферах допускается большая степень плюрализма, но, как правило, это формы плюрализма, «унаследованные» от предыдущей системы, которые политически нейтрализованы и, следовательно, непосредственно не угрожают авторитарной власти. Мы имеем здесь дело скорее с толерантным отношением к достигнутым формам общественного и экономического плюрализма, нежели с плюрализмом, генерируемым авторитарной системой *per se* (самой по себе).

В **тоталитарной** системе плюрализм в публичной жизни в принципе отсутствует. Правящая партия безраздельно осуществляет фактическую власть, причем эта монополия власти санкционирована действующим законодательством. Те формы плюрализма, которые существовали перед возникновением тоталитарной системы, устранены из публичной жизни — точно так же, как и пространство для возможного функционирования «второй экономики» или же «параллельного общества».

В **посттоталитарной** системе уже появляются отдельные формы общественного и экономического плюрализма, однако они не в состоянии сгенерировать альтернативные политические опции, поскольку пространство публичной жизни закрыто для политического плюрализма. Может появиться «вторая экономика» как дополнение к жесткой, неэффективной, но все равно продолжающей доминировать распорядительно-распределительной экономике, которая полностью контролируется государством. Власть терпит диссидентские группы, возникшие в оппозиции к тоталитарному режиму. В условиях зрелого посттоталитаризма диссидентские

группы часто предпринимают попытки создания «второй культуры» или даже «второго общества», которые не подчинялись бы контролю со стороны посттоталитарного государства.

Султанизм характеризуется далеко продвинутой толерантностью к экономическому и общественному плюрализму, однако он является полем для исходящих сверху непредсказуемых и деспотических интервенций. Никакой актер публичной жизни не избавлен от возможности любого подобного вмешательства со стороны «султана». Не существует верховенства права, а институционализация публичной сферы невелика. Граница между тем, что является публичным, и тем, что относится к частному, зыбка и не кодифицирована.

Роль идеологии в конкретных типах описанных выше систем различается. В условиях авторитаризма политическая система не организована вокруг какой-то ведущей идеологии, однако эта система вознаграждает определенный тип ментальности, а именно авторитарный (*Koralewicz*, 1987). Зато в условиях тоталитаризма существует ведущая идеология, в которой для данного общества, а иногда даже для всего мира вполне членораздельно артикулируется тот утопический порядок, к которому должны устремляться объединенные усилия масс. Указанная идеология служит источником легитимации тоталитарной власти, а также источником того ощущения миссии, которое присутствует здесь не только среди политических руководителей, но и у разнообразных групп населения и даже у индивидов. Из этой ведущей идеологии вытекают также исходные предпосылки для текущей политики тоталитарной власти. В посттоталитарной системе ведущая идеология, правда, по-прежнему существует, но она уже не имеет такой магнетической силы, как при тоталитарном строе, ибо слабеет вера в возможность достижения тех утопических целей, из которых исходит данная идеология. Место идеологических отсылок занимает более прагматический способ принятия решений, а также более прагматический публичный дискурс. Однако у подобного прагматизма существуют вполне определенные границы, а именно нерушимый характер основных устоев посттоталитарного порядка, которые позволяют ему сохраняться и воспроизводиться. При «султанстве» никакой идеологии в классическом толковании указанного понятия не существует. Вместо идеологии присутствует беспредельное восхваление и прославление лидера, а также произвольная манипуляция какими-то символами и интерпретацией действительности.

Авторитарная система не нуждается в массовой мобилизации людей. Ей достаточно, что те занимаются своими делами и не вмешиваются в политику. Технологии мобилизации масс применяются лишь спорадически, в единичных случаях, когда по каким-либо причинам возникает угроза для стабильности системы. Зато в условиях тоталитаризма безостановочно используется непрерывающаяся мобилизация масс через создаваемые системой массовые организации, принадлежность к которым если не обязательна, то как минимум «воспринимается властями одобрительно». Кадры всех уровней и активисты должны быть во всеоружии, иначе говоря в полной готовности к поддержанию энтузиазма масс, направляемого властями. Частная жизнь — в которой контроль государства ограничен — выглядит подозрительной. В посттоталитарной системе мобилизация масс ослабевает и вместе с этим уменьшается заинтересованность лидеров и активистов в поддержании такой мобилизации. Рутинная мобилизация через организации, контролируемые государством, разумеется, по-прежнему продолжает существовать, но она носит ритуализированный характер и лишена реального содержания. Фанатичные активисты заменяются карьеристами, оппортунистами и приспособленцами, а в публичной жизни преобладают скука и ритуальное окостенение. Власти принимают уход людей в приватную жизнь и одобряют его. В «султанской» системе мобилизация масс, как правило, невелика, но время от времени (главным образом по случаю неких церемониальных мероприятий) она все-таки организуется властями и получает широкий резонанс — либо по причине применяемого принуждения, либо из-за клиентелистской зависимости людей от власти. Иногда случаются эпизоды мобилизации неформальных парагосударственных групп, используемых для применения насилия по отношению к другим группам, на которые указал «султан» (это режиссируемый сверху «гнев народа»).

В авторитарной системе руководство принадлежит или лидеру, или узкому кругу предводителей, реализующим свое правление по правилам, которые довольно стабильны и предсказуемы, хотя формальным образом не до конца кодифицированы. В этой системе существует относительная автономия в смысле возможностей делать карьеру в администрации и армии (разумеется, до определенного уровня). Рекрутирование в элиту авторитарной власти происходит, как правило, через кооптацию.

В условиях тоталитаризма руководитель часто бывает харизматическим, а для власти, которой он обладает, характерны неопределенные границы и большая степень произвольности. Рекрутирование во властную элиту происходит исключительно через партийные каналы. При посттоталитаризме лидеры редко бывают харизматическими, зато они больше заботятся о личной безопасности и собственных интересах. Правда, рекрутирование во властную элиту по-прежнему возможно главным образом по партийным каналам, но не исключена также и кооптация (как при авторитаризме). Ведущие руководители, или так называемые первые лица, чаще всего рекрутируются из технократов, имеющих в партийном аппарате.

В «султанской» системе руководство является в высокой степени произвольным, безапелляционным, не терпящим возражений и личным. Положения или предписания законов никак не ограничивают лидера — скорее его воля служит источником права и уж как минимум хотя бы временных норм поведения. Повиновение руководителю-«султану» опирается на механизм наказаний и вознаграждений. Рекрутирование в состав элиты, окружающей правителя, тоже носит крайне произвольный характер, а ее члены набираются из числа ближайших или более дальних родственников «султана», из его друзей, деловых партнеров либо из числа тех, кто особенно старательно, усердно и грубо применял насилие с целью максимального упрочения режима. Положение в этой своеобразной элите сильно зависит от сугубо личной лояльности повелителю и от готовности безоговорочно подчиняться ему.

Представленная здесь — вслед за Линцем и Степаном — краткая характеристика типовых режимов представляет собой, естественно, лишь одну из возможных типологий социально-политических систем. Таким образом, если я привлекаю именно эту типологию, то потому, что она особенно удобна для описания как исходной, стартовой точки при переходе от недемократического режима к демократии, так и влияния этой точки на протекание указанного перехода.

Теории демократии

Утверждение, гласящее, что демократия — это правление народа, или народовластие, банально и, кроме того, не до конца правильно. Обойдем пока вопрос о правлении народа (им мы займемся

несколько позже). Попробуем дополнительно уточнить само понятие «народ» («демос»). Начиная с афинской демократии и вплоть до сегодняшнего дня не все люди принадлежат к «народу», иначе говоря к той части общества, которая располагает голосом в публичных делах. «Народ» — это, другими словами, граждане, которые пользуются всей полнотой публичных прав. К «народу» не относятся, к примеру, дети либо лица, по приговору суда лишённые публичных прав (обычно на какое-то время). Так обстоит сегодня дело в демократических системах, но история развития демократии является вместе с тем и историей борьбы за гражданские права тех общественных категорий, которые по каким-то причинам были исключены из гражданства. Об этом пойдет речь в главе, посвященной гражданству. А здесь будет пока достаточно констатировать, что сегодняшнее понимание демократии исходит из ее инклюзивности (включенности), иначе говоря из того, что никого не исключают {из нее, т. е. из обладания публичными правами} по соображениям пола, вероисповедания, провозглашаемых взглядов, расы, имущественного или образовательного статуса (ценза) и других качеств, свойств и черт, которые в прошлом лишали гражданских прав определенные группы лиц или социальные совокупности.

Если говорить максимально кратким образом, то демократия — это правление большинства при уважении прав меньшинства. В случае, когда мы имеем дело с правлением большинства без уважения прав меньшинства, такая система перерождается в «тиранию большинства» (Sartori, 1998: 170). Уважение прав меньшинства представляет собой, выражаясь другими словами, защиту прав оппозиции — она, правда, проиграла выборы, но правовая защита ее деятельности является одним из краеугольных камней, на которых зиждется демократическая система. Если же мы имеем дело с правлением меньшинства, то тут демократия перерождается в олигархию или прямо-таки в диктатуру.

Демократия может носить непосредственный (прямой) или представительный характер. Прямая демократия возможна в том случае, когда численность «народа», располагающего правом голоса, не слишком велика (так было, например, в афинской демократии). В подобной ситуации оказывается возможным разрешение важных, но текущих публичных вопросов путем непосредственного выражения поддержки тому или иному решению данного конкретного вопроса. В сегодняшних, огромных в количественном

отношении гражданских общества проявления прямой, непосредственной демократии принадлежат к исключениям и принимают вид всеобщих референдумов. Чтобы не парализовать процесс принятия решений и вместе с тем сохранить его демократический характер, была изобретена представительная демократия, иными словами выборы представителей в состав органов по принятию решений, которые от имени избирателей обсуждают и одобряют те или иные решения.

Вторым краеугольным камнем демократии являются конкурентные выборы в структуры публичной власти (*Schumpeter, 1995*). Конкурентный характер выборов означает, что каждый член демоса имеет право активного и пассивного участия в выборах, где за получение поддержки конкурируют по меньшей мере две партии. Активное избирательное право означает ничем не стесненную возможность выбирать представителей властей, а пассивное избирательное право означает точно так же ничем не стесненную возможность выставлять себя кандидатом на выборах, иначе говоря возможность быть избранным.

На эти два устоя и опирается демократическая система, облик которой на практике может иметь много разных вариантов. Исторически наблюдаемые модели демократии, функционирующие в конкретных обществах, в целом обычно отличаются от идеального типа демократического строя. Отклонения от этого идеального типа вызваны местным культурным контекстом, характером перехода от недемократической системы к демократии, а также разнообразием тех конкретных решений, в соответствии с которыми функционирует определенная общественная система. Тем не менее, невзирая на возможные отклонения, она не перестает быть демократической системой, если сохранены упомянутые ранее два фундаментальных принципа (правление большинства с уважением прав меньшинства, а также конкурентные выборы). Роберт Даль (*Dahl, 1971*) предлагает определять эти эмпирически функционирующие демократии названием «полиархия» (и данный термин будет далее широко употребляться). «Полиархия является политическим строем, в самой широко взятой форме отмеченным двумя общими характеристиками. Гражданство распространено на сравнительно большую часть взрослого населения. Права гражданства включают возможность выступать против высших должностных лиц в правительстве и смещать их посредством голосования», — пишет Даль (*Dahl, 1995: 310; в рус. пер. с. 340*).

Для устойчивости полиархии и ее стабильности определяющую роль играет в первую очередь стабильность и правомочность некоторого набора институциональных решений, которые позволяют, кроме того, с достаточной точностью отличить демократические системы от квазидемократических или просто недемократических. Как я писал в другом месте (*Wnuk-Lipiński*, 1996: 38, *passim*), лишь применение указанных институциональных решений дает возможность окончательно установить, действительно ли мы имеем дело с полиархией. Чтобы конкретная система осуществления правления могла быть признана демократической, ее должны характеризовать следующие семь институциональных решений (*Dahl*, 1995: 221; в рус. пер. с. 341).

1. **Выборные власти** (*elected officials*¹). Выборные власти облечены конституцией правом контроля над правительственными решениями по поводу политики.
2. **Свободные и справедливые выборы**. Выборные власти избираются на свободно и справедливо проводимых выборах, где злоупотребления сравнительно редки.
3. **Включающее избирательное право** (*inclusive suffrage*). Практически все взрослое население имеет право голосовать во время избрания властей.
4. **Право претендовать на избрание**. Почти все взрослые вправе выдвигать свою кандидатуру на выборах на правительственные должности, хотя существующие ограничения на занятие постов могут превышать те, которые установлены для голосования.
5. **Свобода выражения своего мнения**. Граждане имеют право выражать свое мнение без страха строгого наказания по политическим мотивам в широком смысле, включая критику властей, правительства, режима, социально-экономического порядка и господствующей идеологии.
6. **Альтернативная информация**. Граждане располагают правом на поиск альтернативных источников информации.

¹ Вообще говоря, разные англо-русские словари дают в этом контексте следующие переводы слова *officials*: руководители; власти; должностные лица, чиновники (крупные, влиятельные). Кроме того, здесь и далее, в п. 3, английский термин принадлежит автору книги; в опубликованном русском переводе его нет.

Более того, альтернативные источники информации существуют и защищены законами.

7. **Организационная самодеятельность.** Для достижения различных прав, включая вышеперечисленные, граждане также вправе формировать сравнительно самостоятельные ассоциации или организации, включая независимые политические партии и группы интересов.

Вышеуказанные институциональные решения представляют собой необходимое, хотя и не всегда достаточное условие для соблюдения пяти основных — по мнению Р. Даля — критериев демократического порядка, а именно: 1) обеспечения равенства выбора; 2) обеспечения реального участия общества в политическом процессе; 3) создания возможностей для понимания того, что происходит в публичной жизни; 4) создания институциональных условий для общественного контроля за правительственными приоритетами; 5) включения взрослой части общества в состав демоса¹.

Как вытекает из приведенных ранее рассуждений, демократия в большей степени является процедурой, нежели идеологией; она представляет собой прежде всего форму, совокупность формальных правил и институтов, в рамках которых есть место для самых разнообразных идеологий, причем каждая из них формально равноправна. Пространством столкновения таких разнообразных идеологий является публичная жизнь определенного общества. Это, разумеется, не означает, что демократия — как система — совершенно лишена ценностей. Подобное утверждение было бы слишком далеко идущим, а следовательно, никак не точным. Демократия имеет свою собственную аксиологию, где на передний план выдвигаются роль и права индивида, заключающиеся в его гражданском статусе и заимствованные из либеральных доктрин (эти вопросы будут рассмотрены в одной из последующих глав). Поэтому к понятию «демократия» часто добавляется прилагательное «либеральная» — как раз для того, чтобы акцентировать

¹ В разделе «Критерии демократического процесса» монографии Р. Даля «Демократия и ее критики» (с. 162–171) говорится про «пять стандартных — если угодно, идеально стандартных — критериев», но указаны и подробно разобраны лишь следующие четыре: эффективное участие; равенство голосования на решающей стадии; просвещенное понимание; контроль над повесткой дня.

в сегодняшних демократических системах именно весомость человеческой личности и ее прав.

На практике встречается много моделей полиархии, которые — хотя иногда они весьма ощутимо различаются между собой — не перестают, однако, удовлетворять тем институциональным критериям Даля, которые приписываются демократии. И речь здесь идет не только о естественных — ибо вытекающих из местной политической традиции — различиях в структурах власти, не об избирательных законах и положениях о выборах, а также не о способах пересчета набранных голосов на количество мандатов в представительных органах (если этот пересчет честен). Все указанные различия, разумеется, важны и могут ощутимо влиять на состав властной элиты или даже на структуру партийной системы, но они носят «технический» характер, потому что относятся к дифференцированным институциональным решениям одной и той же проблемы, а именно создания демократического представительства демоса в структурах власти (какими бы они ни были).

Гильермо О’Доннелл (O’Donnell) определяет демократию несколько другим способом. Он пишет, что «демократический режим (или политическая демократия, или же полиархия) содержит следующие составные элементы: а) честные и институционализированные выборы; б) определенные контекстные свободы, по поводу которых можно в разумных пределах полагать, что их совместное наличие создает высокую вероятность честных выборов; в) государство, которое на своей территории устанавливает, кто может быть признан в качестве политического гражданина; г) правовую систему того же самого государства, которая присваивает людям политическое гражданство исходя из принципов универсальности и инклюзивности и действуя при этом через защиту и поддержку вышеупомянутых контекстных свобод, а также пассивного и активного избирательного права и в целом различных способов участия в честных выборах» (O’Donnell, 1999: 27).

В подходах О’Доннелла, Роберта Даля, а также Йозефа Шумпетера (Schumpeter) есть одна общая черта, так как, по мнению всех этих теоретиков, она представляет собой стержень демократической системы; эта общая черта — существование свободных, честных, всеобщих и конкурентных политических выборов. Ибо только посредством таких выборов возможно создание по-настоящему демократического представительства. Если данный критерий удовлетворяется, то наименование демократической системы

может принадлежать очень сильно различающимся вариантам полиархии. Расхождения между отдельными эмпирически наблюдаемыми демократическими системами могут вытекать из разных институциональных решений, но могут также иметь и более глубокие социальные первопричины.

Более глубокие различия коренятся, с одной стороны, в структуре общества, а с другой — в исторически обусловленных и тоже коренящихся в социальной структуре вариантах и формах поведения политических элит. Причем важна здесь не только присутствующая в каждом обществе структура, обусловленная разделением труда, но также — и даже в большей степени — структура, обусловленная культурной фрагментацией общества (например, это могут быть этнические различия, глубокие религиозные расколы или разобщенность между образованным слоем и широкими массами, которым присущ низкий или очень низкий уровень образования).

Названные различия позволили Лейпхарту (Lijphart) сформулировать следующую типологию демократических режимов.

Таблица 1

Типология демократических режимов

Поведение элит	Структура общества	
	Гомогенная	Плюралистическая
Союзническое (кооперативное)	Деполитизированная демократия	Консоциальная демократия
Конфронтационное	Центростремительная демократия	Центробежная демократия

Источник: (Lijphart, 1977: 106), а также схема 2 «Типология элит» в разделе «Типология демократических режимов» русского перевода этой работы (с. 142).

В деполитизированной демократии идеологические и религиозные виды напряженности ослабляются, зато появляется тенденция к заключению союзов между элитами, принадлежащими к разным политическим лагерям, во имя технократической эффективности при принятии решений. Ослабление идеологических и религиозных видов напряженности оказывается возможным потому, что в религиозном смысле общество носит относительно гомогенный характер, а в его общественной структуре (которая принимает форму ромба) доминирует большой по численности средний класс, тогда как разнообразные идеологии — продолжающие, правда, присутствовать в публичном дискурсе — уже не

возбуждают особой «общественной лихорадкой» и трактуются с изрядной дистанцированностью даже теми, кто их провозглашает. Такой тип демократической системы эволюционирует в направлении бюрократическо-корпоративных решений, где политическая конкуренция, доктринальные дискуссии и мобилизация поддержки со стороны масс для определенного варианта действий (определенной опции) угасают, а на этом месте появляются постоянные переговоры, к которым подключаются все существенные акторы публичной жизни. В деполитизированной демократии выбор определенного варианта или приоритета развития перестает быть публичным делом, а становится результатом компромисса разных акторов публичной жизни, включенных в процесс принятия решений. Исторически симптомы такой модели демократии впервые обнаружили на Западе в начале 60-х годов XX века (особенно в Скандинавских странах), когда часть теоретиков стали задумываться, не вступает ли западный мир в период всеобщих сумерек идеологии в публичной жизни. Но эта тенденция продержалась недолго, потому что уже на исходе 60-х и в 70-х годах идеологическая проблематика вновь начала становиться существенным фактором структуризации публичной жизни. Однако, как отмечает Аренд Лейпхарт, «из всех западных демократий скандинавские страны пошли дальше всех в направлении деполитизированной модели демократии» (*Lijphart, 1977: 111; в рус. пер. с. 147*)¹.

Центростремительная демократия появляется в тех обществах, которые точно так же, как и в предыдущем случае, с точки зрения социальной структуры и религии относительно гомогенны, а кроме того, в них доминирует сильное чувство общности и наблюдается относительно гомогенный уровень политической культуры. В таком социальном контексте даже конфронтационное поведение элит наряду с явно отмечаемой политической борьбой между правительством и оппозицией не нарушает стабильности всей системы. Именно благодаря этой относительной однородности социальной базы указанные конфронтации никогда не

¹ При этом сам Лейпхарт, приводя фразу «из всех западных демократий скандинавские страны наиболее приблизились к деполитизированному типу», ссылается на работу: Heisler M. O., Kvavik R. B. *Patterns of European Politics : The «European Polity» Model // M. O. Heisler (ed.) Politics in Europe: Structures and Processes in Some Postindustrial Democracies. N. Y. : McKay, 1974. P. 46–48.*

приобретают радикального уклона и в некотором смысле носят ритуализированный характер. К данному типу относятся, по мнению Лейпхарта, демократии англосаксонского типа, особенно Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Ирландия (*Lijphart*, 1977; в рус. пер. с. 147).

Центробежная демократия появляется в тех случаях, когда культурная фрагментация общества значительна и вместе с тем линии водоразделов резко очерчены. Кроме того (а может быть, и вследствие того), в функционировании элит преобладает конфронтация, а не политические союзы или хотя бы прагматическая кооперация. Примерами такой центробежной демократии могут послужить две французские республики (Третья и Четвертая), Веймарская республика или послевоенная Италия. Лейпхарт к перечню демократий данного типа добавляет еще Первую республику в Австрии, а также недолго просуществовавшую в начале 30-х годов XX века Испанскую республику и Северную Ирландию, которая, правда, не является суверенным государством, но пользуется огромной автономией (*Ibid.*: 114, 134; в рус. пер. с. 150, 170)¹.

Последний тип системы назван Лейпхартом **сообщественной (или консоциональной)² демократией**. Этой модели он

¹ Нужно сказать, что Северная Ирландия подробно рассматривается Лейпхартом, но не применительно к центробежной демократии, а в обширном разделе, озаглавленном «Пределы сообщественности: Северная Ирландия» (в рус. пер. с. 170–177).

² Этот термин используется, в частности, в названии отрывка из статьи Лейпхарта «Консоциональная демократия» (см.: Теория и практика демократии / пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина. М.: Ладомир, 2006. С. 119–122), хотя, как уже отмечалось, в переводе его труда «Демократия в многосоставных обществах...» широко используется термин «сообщественная демократия». При этом редакторы данного перевода, объясняя выбор указанного термина, пишут: «Понятие „сообщественность“... производно от слова „сообщество“ (*consociation*), достаточно распространенного в научной литературе (известно, например, что еще Дж. Локк размышлял о религиозном сообществе). Сегодня оно широко употребляется не только в политической науке, но и в политической практике (например, „мировое сообщество“, „региональное сообщество“, „Европейское экономическое сообщество“ – ЕЭС, „локальное сообщество“, в том числе в рамках отдельных государств, и т.п.), отражая вполне конкретные реалии современной политической жизни». К сожалению, не очень понятно, почему эти редакторы посчитали, что слово *consociation* переводится как «сообщество» (не говоря уже о том, что ни в одном из приведенных ими

уделяет больше всего места, полагая, что она представляет собой самый многообещающий тип демократического режима, где культурная и классовая сегментация, создающая очень сильно плюрализованное («многосоставное») общество, может, однако, функционировать стабильным и относительно эффективным способом. Сообщественную (или консоциальную) демократию, пишет Лейпхарт, «можно определить через следующие четыре ее характерных элемента, из которых первым и самым важным является осуществление власти большой коалицией политических лидеров всех значительных сегментов¹ многосоставного общества. <...> Три других важных элемента общественной демократии — это (1) взаимное вето или правило „совпадающего большинства“, выступающие как дополнительная гарантия жизненно важных интересов меньшинства; (2) пропорциональность как главный принцип политического представительства, распределения постов в государственном аппарате и средств государственного бюджета и (3) высокая степень автономности каждого сегмента в управлении своими внутренними делами» (*Lijphart*, 1977: 25; в рус. пер. с. 59).

Центростремительная демократия и консоциальная (сообщественная) демократия являются очень устойчивыми, стабильными системами. Деполитизированная демократия на короткой дистанции весьма стабильна, но на более длинной она теряет не только стабильность, но и легитимацию, так как в публичной жизни появляются силы, подрывающие ее правомочность как раз по

примеров это английское слово не используется). Во всех англо-русских словарях, в том числе в специализированном «Социологическом словаре», оно переводится как «объединение», «товарищество», «ассоциация», поэтому понятие «сообщественность» и в тексте книги Лейпхарта, и в данной книге следовало бы, строго говоря, заменить на «объединенность» или «ассоциативность», которые в данном контексте неприемлемы, поскольку они уже имеют четкие (и абсолютно иные!) значения. Остается либо «товарищественность», либо какой-то синоним (например, «альянсность»), либо калька «консоциальность», которая представляется наилучшим выбором.

¹ Как отмечают редакторы русского перевода работы Лейпхарта (с. 27), «под сегментами автор понимает некие совокупности индивидов, представляющие собой организованные или неорганизованные группы, которые различаются по языковым (лингвистическим), религиозным, этническим и т.п. признакам, исповедуют разные взгляды и имеют разные интересы».

той же самой причине, которая ненадолго гарантирует ей стабильность, а именно потому, что при ней сходят на нет все виды политической конкуренции, а также любые идеологические дискуссии и гражданин постепенно вытесняется экспертом, который — как в корпоративной модели — берет на себя контроль над процессом принятия решений. Центробежная демократия наименее стабильна, и вследствие этого ее историческое существование, как правило, не бывает продолжительным — она либо переходит в консенсусную демократию, либо исчезает, поскольку ее место занимает авторитарный режим.

Либерализация и демократизация

Обсуждение теории перехода от авторитарной системы к демократии для начала требует разъяснения двух ключевых понятий, полезных и помогающих при описании данного явления. Одним из них является либерализация, а вторым — демократизация. Проблемой демократизации и либерализации занимались многие теоретики — Джузеппе Ди Пальма (*Di Palma*, 1990: 81), Линц, Степан (*Linz, Stepan*, 1996: 3), Кауфман (*Kaufman*, 1986), Пшеворский (*Przeworski*, 1986: 56), а более всего Гильермо О'Доннелл и Филипп К. Шмиттер (*O'Donnell, Schmitter*, 1986).

Либерализация и демократизация представляют собой два разных аспекта процесса перехода от авторитаризма к демократии. В перечисленных выше работах даются очень разные способы определения указанных явлений, равно как и взаимозависимости между ними. К примеру, Линц и Степан (*Linz, Stepan*, 1996: 3) предполагают, что либерализация обычно наблюдается совместно с демократизацией, поскольку либерализация в недемократических условиях означает такие изменения, как ослабление цензуры, увеличение пространства для автономной деятельности рабочих организаций, внедрение некоторых правовых гарантий, обеспечивающих защиту индивида (например, принципа *habeas corpus* [личной неприкосновенности]), освобождение большинства политзаключенных, возможность возвращения для политических эмигрантов, а также — что, по мнению этих авторов, является самым важным — появление терпимого отношения к существованию неформальной оппозиции. Демократизация же — с их точки зрения — представляет собой более широкое понятие, ибо она требует возможности открытого протеста и выступлений

против сил, контролирующих правительство, а как следствие — требует конкурентных выборов, результат которых устанавливает, кто управляет страной.

Однако для употребления в дальнейших рассуждениях я приму несколько другую интерпретацию указанных понятий, отчасти являющуюся попыткой как минимум упорядочить те разнообразные определения, на которые я ссылался ранее. В такой трактовке либерализация — говоря с максимальной краткостью — относится к правилам, действующим в публичной жизни определенного общества в качестве обязательных, тогда как демократизация — к тем социальным категориям (группам), которые включаются в рамки демоса и могут этими правилами пользоваться.

Определенная таким способом либерализация отнюдь не предвещает, что внесение в авторитарную систему более либеральных правил непременно должно нарушать идентичность этой системы и неизбежным способом вести к ее эрозии, а в конечном итоге к падению. Причина в следующем: все зависит от того, кто может пользоваться указанными более либеральными правилами (а следовательно, от степени демократизации системы). Если либеральные правила зарезервированы единственно для какого-то узкого слоя (например, для сети должностей, носящих стратегический характер с точки зрения стабильности и репродуктивных способностей системы), в то время как для подавляющего большинства общества они недоступны, то мы имеем дело с такой либерализацией, которая — по крайней мере, на какое-то время — может даже укрепить авторитарную систему. Ведь либерализация в таком случае равнозначна созданию для особо отобранной узкой группы «преторианцев системы» неких либеральных отступлений от обязательных для всех правил игры, иначе говоря образованию привилегий, которые — в условиях, когда социальные коммуникации контролируются механизмом цензуры, — могут оставаться общественно незаметными и не будут запускать в публичной жизни механизм относительной депривации (об этом механизме пойдет речь в следующей главе). Взамен за такой привилегированный доступ к более либеральным правилам игры авторитарная система может добиться укрепления лояльности к себе (уже не из идеологических, а из чисто прагматических соображений) со стороны тех групп, которые занимают в структуре власти и экономики ключевые позиции с точки зрения стабильности системы и ее репродукции. При-

чем это отнюдь не только теоретический аргумент. На практике всякая недемократическая система применяет для своих «преторианцев» разнообразные привилегии, которые, по сути дела, представляют собой либеральное отступление от ортодоксального употребления одних и тех же правил в публичной жизни.

Демократизация может пониматься как степень общественной эмансипации, или, другими словами, как степень эгалитаризации правил игры, обязывающих в публичной жизни, либо, выражаясь еще иначе, уравнивания публичных прав, которые положены членам определенного общества. Чем больше социальных категорий уже на старте исключаются из самой возможности участия в публичной жизни на принципах, доступных другим, или, формулируя это на иной лад, чем больше существует социальных субъектов, которые не могут реализовать на практике публичные права, доступные другим субъектам, тем в меньшей степени демократизирована определенная система и *vice versa* (наоборот).

Зависимость между либерализацией и демократизацией иллюстрируется рис. 1.

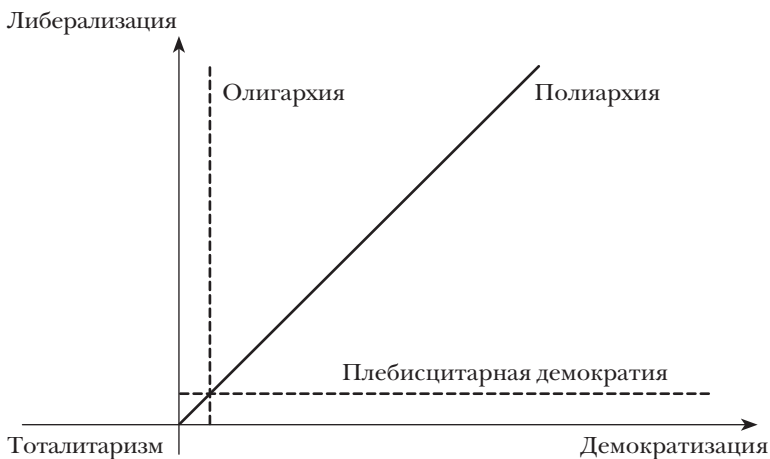


Рис. 1. Либерализация и демократизация

За исходную точку мы можем принять идеальный тип тоталитарного строя, в котором правила игры даже для самых высоких функционеров системы максимально далеки от либерализма, и вместе с тем в такой системе вообще нет подлинной публичной жизни, поскольку все это пространство целиком и без всякого

остатка заполняют события, которые порождаются сверху. Указанная система представляет собой удобную исходную точку по той причине, что уровень обеих рассматриваемых ценностей (т.е. либерализации и демократизации) здесь близок к нулю. Теоретически — что вытекает из рис. 1 — возможна как демократизация без либерализации, так и либерализация без демократизации.

Демократизация без либерализации — это процесс, включающий очередные сегменты общества в пределы демоса, однако же при этом правила игры, действующие в публичной жизни в качестве обязательных, остаются далекими от либерализма. Причем это вовсе не правила, навязываемые сверху (как в тоталитаризме), но принимаемые и одобряемые теми, кто конституирует демос, а такие лица образуют преобладающее большинство. Этому процессу соответствует линия, параллельная оси демократизации и, по правде говоря, не очень далеко от нее отстоящая — ввиду незначительного прогресса на оси либерализации.

Как бы странно ни выглядело такое сочетание, оно отнюдь не является искусственной конструкцией, теоретически придуманной единственно для окончательного дополнения обсуждаемой модели. В отдаленной истории — да и во вполне современной тоже — можно с легкостью найти много эмпирических иллюстраций именно такого процесса. Достаточно назвать популистскую систему в Аргентине времен Перона, Беларусь в период правления Лукашенко с существующими там сильными элементами популизма, Алжир, который являет собой случай особенно необычных последствий демократизации. До 1989 года единственной легальной партией в этой стране был Фронт национального освобождения. Вступление Алжира в 1989 году на путь демократизации сделало возможным создание партий, являющихся политическими соперниками по отношению к Фронту национального освобождения. Первые по-настоящему конкурентные выборы в этой стране, проведенные в 1990 году, принесли решительную победу Мусульманскому фронту спасения — партии фундаменталистского толка. Это привело к серьезным общественным волнениям и беспорядкам, результатом которых стало введение чрезвычайного положения. В 1991 году там провели повторные свободные и всеобщие выборы, которые снова с большим перевесом выиграл фундаменталистский Мусульманский фронт спасения. В соответствии с волей большинства в Алжире, вероятно, возникла бы очередная исламская республика, если бы через месяц после указанных

выборов армия не совершила государственный переворот и не запретила деятельность Мусульманского фронта спасения¹.

Либерализация без демократизации — это процесс, в рамках которого правила игры, правда, делаются все более и более либеральными, но пользоваться ими может лишь узкая группа привилегированных личностей. Результатом такого процесса становится олигархизация системы, характеризующаяся наличием относительно небольшой группы привилегированных лиц, которые косвенно или непосредственно правят огромными массами людей, лишенных доступа к этим привилегированным правилам игры и оказывающихся тем самым — вследствие отсутствия надлежащего прогресса демократизации — гражданами второй категории. Такой ситуации на рисунке соответствует линия, параллельная оси либерализации и тоже не очень далеко от нее отстоящая — ввиду узкого состава группы, которая вкушает плоды однобокой либерализации.

Между двумя указанными только что крайними случаями (либерализацией без демократизации, с одной стороны, и демократизацией без либерализации — с другой) располагаются разнообразные пути отхода от авторитарной системы в направлении какой-либо из моделей демократии. Чем более равномерен прогресс в одном и другом измерениях, тем выше вероятность того, что изменение системы приведет к возникновению полиархии, по возможности максимально близкой к идеальному типу либеральной демократии. На рис. 1 этому процессу соответствует линия, идущая под углом 45 градусов к обеим осям координат.

Демократические революции в условиях глобализации мира

Конец XX века был отмечен таким значительным ростом числа демократических стран и таким небольшим их выбыванием из этого перечня, что не возникало сомнений: мы имеем дело с глобальной тенденцией, добирающейся до разных континентов, даже до тех цивилизационных и культурных кругов, где общества и государства никогда ранее не функционировали в рамках демократической системы. Указанную тенденцию стали, вслед за Сэмюэлом

¹ Как известно, весной 2011 года и позднее, т.е. уже после написания этой книги, ситуация в Алжире получила дальнейшее развитие в рамках так называемой арабской весны.

Хантингтоном (*Huntington, 1991*), называть **третьей волной демократизации**.

Хантингтон подверг пристальному рассмотрению возникновение и исчезновение демократических государств на протяжении без малого двух последних столетий. Из этих его наблюдений вытекало в качестве итогового вывода, что в течение одних периодов численность государств с разными вариантами демократического строя возрастает, а в течение других — уменьшается. Другими словами, дело обстоит отнюдь не так, что переход от авторитарного строя к демократии означает окончательный разрыв с недемократическим прошлым. Хантингтон зафиксировал много случаев, когда переход к демократии оказывался лишь кратковременным эпизодом, за которым следовало возвращение к недемократическому строю, иногда даже в более репрессивной форме, нежели перед этим эпизодическим изменением. Такие смены видов общественного строя напоминали волнообразные колебания, и отсюда взялась его метафора о волнах демократизации, которая привилась в качестве обозначения этих глобальных процессов. Волна демократизации определяется Хантингтоном как «группа переходов от недемократических режимов к демократическим, происходящих в определенный период времени, количество которых значительно превышает количество переходов в противоположном направлении в данный период» (*Huntington, 1991: 15*; в рус. пер. с. 26). В соответствии с его хронологией первая волна демократизации, достаточно длительная, но относительно невысокая, проходила в 1828–1926 годах. Эта волна была долговременным отголоском двух революций, случившихся в конце XVIII века: американской и французской, но демократические институты, которые возникли в результате этой волны, были уже продуктом XIX века. Симптомы отката первой волны демократизации просматривались уже в начале 20-х годов XX века. В целом 20-е и 30-е годы прошлого столетия характеризовались отступлением от демократии либо в направлении традиционных авторитарных режимов (например, в Латинской Америке), либо в направлении фашистского или же коммунистического тоталитаризма (например, в Европе и Азии). Вторая, короткая волна демократизации возникла на исходе Второй мировой войны. Хантингтон связывает указанную волну демократизации с образованием демократических режимов на территориях, освобожденных западными союзниками от фашизма (в частности, это Западная Германия, Япония, Корея,

Австрия, Италия, Норвегия). Вторая волна демократизации — по мнению Хантингтона — исчерпала себя в самом начале 60-х, главным образом вследствие авторитарных переворотов в Латинской Америке. Однако, как показывают более точные и детализированные исследования Ренске Доренсплита (*Doorenspleet*, 2000), не было столь уж отчетливого отступления второй волны демократизации, как утверждает Хантингтон, а скорее имел место некоторый застой, который продолжался вплоть до середины 70-х годов XX века. Расхождения между подсчетами Хантингтона и Доренсплита возникают из-за того, что Хантингтон при датировке подъема и спада двух первых волн демократизации опирался на такой показатель, как меняющийся процент демократических государств в общем количестве государств на планете. Тем временем в абсолютных цифрах число демократических государств демонстрировало лишь незначительные флуктуации — даже в те периоды, когда, по оценкам Хантингтона, мы имели дело с угасанием второй волны демократизации. Доля демократических государств в общем количестве государств на Земле оказалась показателем, который в определенном смысле сбивает с толка, поскольку период деколонизации означал весьма ярко выраженный рост числа суверенных государств, так что база для расчетов была непостоянной.

Начало третьей волны демократизации Хантингтон датирует 1974 годом, когда наступил конец диктатуры в Португалии (революция красных гвоздик). Однако лишь после падения мировой коммунистической системы третья волна приобрела особую стремительность, хотя снова в оценках Хантингтона быстрый рост числа суверенных государств после распада СССР (база для вычислений) несколько занижил рост процента демократических государств. Тем временем выкладки Доренсплита (*Doorenspleet*, 2000: 399) показывают, что третья волна демократизации имела две явно выраженные фазы. В первой, более умеренной (1976—1990 годы), 24 страны перешли от авторитарной системы к демократической, а 12 прошли путь в противоположном направлении (что дает прирост, составляющий 12 демократических стран). Во время второй фазы (1990—1994 годы), которую Доренсплит называет «взрывообразной волной», целых 34 страны перешли от авторитаризма к демократии и только 4 — в противоположном направлении, что дает прирост в 30 демократических стран. Третья волна может по-прежнему нарастать, и уж наверняка сегодня отсутствуют видимые симптомы того, что она скоро повернет вспять.

Чтобы хорошо понять третью волну демократизации, нужно позиционировать ее в контексте глобализации, поскольку именно этот контекст придает ей особенный характер, отличающий данную волну от предыдущих двух. Первая и вторая волны демократизации характеризовались довольно ограниченной областью действия, тогда как нынешняя волна, особенно после 1989 года, приобрела глобальный характер. И, хотя значительная часть человечества по-прежнему живет при таких режимах, которые никоим образом и ни по каким меркам нельзя причислить к демократическим, все-таки никогда в истории число демократических государств (полиархий) не достигало столь больших значений, как теперь.

В конце 70-х годов Иммануил Валлерстайн (*Wallerstein, 1979*) предложил типологию такого явления, как экономическая и хозяйственная глобализация мира, причем указанную типологию удастся применить не только к экономическому слою глобализации. В соответствии с его взглядами мир можно разделить приблизительно на три уровня: (а) первый уровень образуют государства (или даже группы государств), составляющие ядро глобализационных процессов; (б) на втором уровне располагаются государства либо группы государств, которые Валлерстайн называет «полупериферией», тогда как (в) на третьем уровне пребывают государства, оказавшиеся на периферии названного основного потока мировых изменений. При отнесении той или иной конкретной страны к одному из этих трех выделенных выше уровней решающую роль играет положение, которое экономика этой страны занимает в мировом разделении труда.

Территории, относимые к первому, центральному, уровню, первенствуют в технологической гонке, концентрируют у себя ресурсы мирового капитала, отличаются высокой производительностью труда, низкими инвестиционными рисками, а также высоким национальным доходом *per capita* (на душу населения). А вот периферийные страны третьего уровня поставляют на мировой рынок сырье и продукты с низкой степенью переработки и простыми технологиями, а окупаемость этого производства основана на дешевой рабочей силе.

Периферийные страны пребывают в экономической зависимости от стран, принадлежащих к ядру, и эксплуатируются этими последними. Пространства, отнесенные Валлерстайном к полупериферии, также эксплуатируются центром, но вместе с тем

принимают участие в эксплуатации периферии¹. Тем самым согласно основным идеям этой концепции глобализация представляет собой явление с иерархической структурой, причем привилегированное или ущемленное место в такой структуре определяется экономикой данной территории.

Многие из теоретиков демократии, в частности Даль (*Dahl*, 1971), Линц и Степан (*Linz, Stepan*, 1996), Хантингтон (*Huntington*, 1991), Липсет, Сен и Торрес (*Lipset, Seong, Torres*, 1993), обращают внимание на тот факт, что вероятность устойчивого закрепления полиархии после удачной демократической революции отчетливо возрастает, если уровень экономическо-цивилизационного развития страны более высок, социальное неравенство в ней не слишком велико и не достигает драматического уровня, а в обществе жив какой-то опыт гражданских действий.

Вышеперечисленные условия сильно разнятся в зависимости от того, располагается ли данная страна в центре нынешних процессов глобализации, на их полупериферии или же на периферии. Чем дальше от полиархий, составляющих ядро глобализации, тем – в общем и целом – ниже уровень экономического развития, сильнее экономическое неравенство и ниже гражданская культура. По этим причинам следовало бы ожидать, что третья волна демократизации примет концентрическую форму и сумеет добираться с относительно большой амплитудой до полупериферии, но на периферии уже начнет затухать, поскольку будет сталкиваться со все менее выгодными условиями для своего укоренения и консолидации.

Тем временем эмпирические данные (*Doorenspleet*, 2000) показывают, что демократические принципы во все большей степени внедряются и на периферии тоже. Такое происходит как минимум по трем причинам. Во-первых, действует «демонстрационный эффект». Все без исключения страны, принадлежащие к ядру глобализации, являются полиархиями и добились заметных экономических, хозяйственных, а также технологических успехов, благодаря которым стали мощными экономическими и политическими силами, а некоторое из них – еще и сильными военными державами. Страны, расположенные на полупериферии, а также и на

¹ Надо сказать, что Валлерстайн относит к полупериферии Россию и даже СССР в годы холодной войны, называя его «субимпериалистической державой» при единственной сверхдержаве – США.

периферии, в большинстве своем предпринимают попытки, нацеленные на подражание и следование этому успеху через внедрение основных принципов свободного рынка в экономику, равно как демократических принципов – в политическую сферу. При этом они рассчитывают, что таким способом им удастся покинуть статус полупериферии или даже периферии и присоединиться к зажиточным странам из центрального ядра глобализации.

Во-вторых, полиархии, принадлежащие к указанному центру (особенно США), ведут такую внешнюю политику, элементами которой являются как популяризация экономики свободного рынка и поддержка дерегулирования внутренних и международных экономических и хозяйственных отношений, так и поддержка устремлений к демократизации, проявляющихся на периферии и полупериферии (Robinson, 1996). Эта поддержка выражается в применении разнообразных стимулов, поощряющих к вступлению на путь демократизации (от экономических стимулов через содействие местным демократическим движениям и их снабжение техническими и финансовыми ресурсами, дающими им возможность вести свою деятельность, вплоть до передачи *know-how*).

Наконец, в-третьих, здесь действует «эффект домино» либо «снежного кома» (Diamond, 1993; Nagle, Mahr, 1999). Если какая-то одна страна конкретного региона отважилась вступить на путь демократизации, то в соседних странах, как правило, вставал вопрос: коль скоро они смогли, то почему не мы? Этот синдром, к примеру, наверняка сработал в Центральной и Восточной Европе в 1989 году, где по примеру Польши стали действовать и другие страны данного региона, а также в Южной Азии, где в середине 80-х годов примеру Филиппин последовала Южная Корея.

Перечисленные три фактора объясняют, почему третья волна демократизации добралась в том числе и до тех районов планеты (за исключением мира ислама), которые не располагали ни соответствующим историческим опытом, ни живыми традициями демократического и гражданского свойства.

Третью волну демократизации, особенно после падения коммунистической системы, мы вправе назвать волной **демократических революций**. Эти революции – в отличие от обсуждавшихся ранее классических революций – протекали в целом без применения насилия и без кровопролития. Именно по этой причине определенная часть теоретиков колеблется, можно ли характеризовать эти фундаментальные изменения общественной системы

с применением термина «революция» или же их скорее надлежало бы определять как глубокие системные реформы. Если, однако, принять, что революция — это относительно внезапная и быстрая смена одного общественного порядка на другой, то правомочно определять такое изменение как революцию, даже если оно не сопровождается ни баррикадами и революционной идеологией, ни даже мифологией, присутствующей в классических революциях.

Теории перехода к демократии

Демократические революции имели место в разных странах и в далеко не совпадающих экономических, политических, хозяйственных и даже культурно-цивилизационных контекстах. Как следствие, встает вопрос, присущи ли тем явлениям, которые укладываются в поток третьей волны демократизации, какие-то общие черты, какие-то закономерности, сопровождающие — независимо от контекстных отличий — столь глубокие перемены? И обладают ли эти черты такими общими свойствами, что их можно интерпретировать в рамках одной из существующих теорий? Если бы никаких закономерностей идентифицировать не удалось, это означало бы, что мы беспомощны в познавательном смысле и не в состоянии сказать об указанных демократических революциях ничего существенного, кроме того что они случились и протекали таким-то способом, поддающимся исторической реконструкции. К счастью, дело обстоит совсем не так и отдельные закономерности удастся вычленивать и интерпретировать, а это позволяет считать, что разным вариантам перехода к демократии — безотносительно к дифференцированному общественному контексту и различающимся точкам старта — все-таки свойственны определенные общие черты, которые уже предоставляют нам возможность вести теоретические рассуждения на данную тему.

Однако вначале необходимо разъяснить два ключевых понятия, которые присутствуют в теоретических рассуждениях и зачастую трактуются, хотя и ошибочно, как синонимы. Первым из этих понятий является **трансформация**, тогда как вторым — **переход**, или **транзит** (*transition*). Трансформация — если говорить с максимальной краткостью — означает системное изменение с неизвестным результатом. Это процесс, о котором мы можем с полной уверенностью сказать единственно следующее: он представляет собой

преобразование старой системы, причем настолько фундаментальное, что уже нельзя говорить о продолжении ее существования. У трансформации нет ясно и точно сформулированной цели, на достижение которой направлены изменения. Поэтому, в частности, точкой отсчета для оценки протекания трансформации служит точка старта; так происходит по той причине, что при таком подходе мы в состоянии установить эмпирически, насколько ход изменений отдаляет нас от старой системы. Тем временем у понятия «переход» (или «транзит») имеются сильные телеологические коннотации, поскольку оно означает такие системные изменения, которые ведут к некой (в большинстве случаев не слишком строго определенной) модели общественной системы. Как раз по указанной причине при употреблении данного понятия оно обычно дополняется названием этого целевого типа общественного порядка (например, переход к демократии). В таком случае эталонной точкой отсчета и сопоставления, служащей для оценки протекания изменений, а также их направленности, является точка назначения, а именно мы исследуем, насколько происходящие изменения приближают нас к задуманной модели общественной системы. Если мы хотим исследовать, имеет ли протекание изменений только выборочный, секторальный характер или же оно является революционным (а следовательно, охватывает все существенные сферы публичной жизни), то можем локализовать упомянутые точки отсчета в трех разных измерениях — политическом, экономическом и общественном. Если мы имеем в виду переход от коммунизма к демократии или трансформацию коммунистической системы, то такие разные точки отсчета в отдельных конкретных измерениях представлены в табл. 2.

Таблица 2

Точки отсчета для оценки протекания трансформации перехода к демократии

	Политическая сфера	Экономическая сфера	Общественная сфера
Точки отсчета			
Трансформация	Однопартийная система	Распорядительно-распределительная экономика	Закрытое общество
Переход к демократии	Либеральная демократия	Свободный рынок	Открытое общество

В **трансформационной** парадигме предположением, которое фигурирует на выходе, является тезис о том, что старая система закончилась, поскольку оказались запущенными процессы, делающие невозможной ее стабилизацию и репродукцию, но при этом отнюдь не очевидно, к чему приведут указанные трансформационные процессы. Чтобы изучать изменения, их темп, глубину и направленность, надо позиционировать их по отношению к каким-то постоянным точкам отсчета. В данном случае функцию таких постоянных точек отсчета выполняет точка старта. Тем самым в политической сфере исследуется, насколько изменения политической системы (правила игры, институциональные изменения, а также изменения в политических установках и вариантах поведения) разнятся от точки старта, которая относительно хорошо определена как однопартийная система — вместе с набором ее правил игры в публичной жизни, с характерными для этой системы институтами, а также с такими установками и формами поведения в публичной жизни, которые генерируются данным специфическим набором правил игры и институтов. В экономической и хозяйственной сфере предметом заинтересованности в данной парадигме является степень отклонения от правил, институтов, а также установок и форм поведения, типичных для распорядительно-распределительной экономики. В свою очередь, в общественной жизни исследовательский интерес концентрируется на том, насколько, в общем и целом, трафареты установок и вариантов социального поведения отличаются от установок и вариантов поведения, типичных для закрытого коллективистского общества.

В **транзитологической** парадигме точками отсчета служат некоторые модельные или нормативные аспекты демократии (известные из теории либо из опыта других стран со стабильными демократиями). В политической сфере исследования концентрируются в данном случае на том, насколько происходящие изменения устремлены к более или менее приблизительно определенной модели либеральной демократии, в экономической сфере основным вопросом становится степень регулирования экономики рыночными механизмами, тогда как в общественной сфере главной проблемой делается вопрос о том, в какой мере происходящие изменения приблизили определенное общество к идеальному типу открытого общества и насколько коллективизм оказался замененным индивидуализмом.

Демократические революции в отличие от революций классических носили в целом мирный характер. Именно поэтому их

также называют иногда «переговорными революциями» (*Bruszt, 1991*). Относительно мирный характер имели переходы к демократии в Португалии и Испании в 70-х годах, а также в Латинской Америке в 80-х годах минувшего столетия (*Linz, Stepan, 1996*), и именно они положили начало третьей волне демократизации. В этой связи возникают вопросы, можно ли идентифицировать причины вступления недемократических режимов на путь демократизации, или это всякий раз были такие причины, которые составляют уникальное сочетание местных факторов, запустивших в ход системную перемену, или же мы имеем здесь дело с более универсальными факторами, которые запускают процессы отхода от недемократической системы.

Наиболее часто упоминаемым фактором падения недемократических режимов является легитимационный дефицит, или, другими словами, крах веры в правомочность системы среди людей, живущих в этой системе. Теории такого типа исходят из предположения, что никакая система не может продолжать свое существование и воспроизводиться без общественной легитимации, без поддержки или хотя бы позволения со стороны масс. Однако такие утверждения можно поставить под сомнение. Адам Прzeworski (*Przeworski, 1986: 51–52*), к примеру, аргументирует, что «для стабильности какого-нибудь режима решающую роль играет не легитимность данной конкретной системы господства, а наличие или отсутствие желательных альтернатив. <...> Режим не рухнет так долго, пока ему не будет организована какая-нибудь альтернатива, причем таким способом, чтобы она представляла собой реалистический выбор для взаимно изолированных индивидов». Подобная аргументация довольно убедительна. Ведь известны чрезвычайно репрессивные режимы, которые долго держали своих подданных в повиновении исключительно путем принуждения и возбуждения страха перед санкциями за неподчинение. Легитимация такой системы, иначе говоря вера в ее правомочность, была незначительной, но реалистическая альтернатива отсутствовала (например, так было на Украине в 30-х годах XX века во время форсированной коллективизации, в результате которой голод собрал многомиллионную жатву смерти, но, невзирая на это, стабильность сталинской системы не подвергалась угрозе).

Однако, чтобы такая альтернатива могла возникнуть, а вдобавок еще и удовлетворять критерию реалистического варианта выбора для изолированных системой индивидов, в монолитной — по

крайней мере, внешне — властной элите недемократической системы должна возникнуть трещина, причем она должна быть видимой для общественности. Раскол во властной элите происходит в результате воздействия самых разных причин, которые меняют контекст настолько, что удержание хотя бы фасада единства оказывается уже невозможным. Таких причин может быть много (например, смерть безраздельно правившего деспота и борьба за наследование, унижительное военное или дипломатическое поражение, которое напрочь лишает вождя былого мифа непогрешимости и неприкосновенности, глубокий экономический кризис и т.д.), но запускают процессы системного изменения не сами такие события, а их воздействие на сплоченность властной элиты в старой системе.

Такого рода демократические революции, осуществленные переговорным путем, отнюдь не обязательно должны быть единственным типом перехода от недемократической системы к демократии. Степан (*Stepan*, 1986: 65–84) описывает восемь разных путей фундаментального изменения недемократической системы¹.

¹ Это следующие типы перехода к демократии: 1) реставрация демократии после освобождения от оккупации со стороны недемократического режима (так обстояло дело во многих странах Западной Европы после Второй мировой войны, в частности в Голландии, Бельгии, Норвегии и Дании); 2) внутреннее переформулирование системных правил; этот путь к демократии появляется в те моменты, когда недемократический оккупант побежден — главным образом внешними силами, — а внутренние антидемократические и коллаборационистские силы, сотрудничавшие с оккупантом, отстранены от власти внешними силами (так выглядела ситуация Франции и Греции после Второй мировой войны; Италия же — по мнению Степана — представляла собой случай, являющийся сочетанием путей с номерами 2 и 3); 3) контролируемое и наблюдаемое извне установление демократической системы (таков был в первую очередь случай Западной Германии и Японии после Второй мировой войны, а также частично Италии); 4) вступление на путь демократии, инициированное самим авторитарным режимом; так происходит в тех случаях, когда старая властная элита видит, что ввиду меняющихся внешних и внутренних обстоятельств ее долговременные интересы будут обеспечены лучше, если на смену авторитарным решениям придут решения демократические (к этой категории можно отнести, в частности, Испанию, Португалию и Перу); 5) свержение недемократического режима общественными силами (например, в Аргентине); 6) пакт в пользу демократии, согласованный прежде всего между оппозиционными партиями и направленный против авторитарного режима (такими были случаи Колумбии и Венесуэлы,

По поводу этой типологии можно высказать много оговорок и возражений (как логических, так и интерпретационных), поэтому я не привожу здесь ее подробного описания. Более того, системное изменение, реализованное переговорным путем, совсем не обязательно должно носить демократический характер (например, когда пакт между элитами исключает из игры какие-то существенные сегменты общества и их политическое представительство); кроме того, даже пакт, задуманный в качестве демократического, может быть заключен между партнерами, слишком слабыми для того, чтобы воплотить этот пакт в жизнь и в дальнейшем сохранить его, поскольку может появиться третья сила, никоим образом не связанная положениями пакта, и смести со сцены как старую элиту, так и договаривавшуюся с ней контрэлиту. Таким образом, если я вспоминаю здесь типологию Степана, то единственно потому (и здесь Степан прав), что история знает много путей к демократии и нет какой-либо одной надежной и бесспорной теоретической формулы, которая описывала бы данное явление и — более того — позволяла бы предвидеть его наступление. Поэтому обсуждаемые далее схемы перехода к демократии охватывают не все виды демократических переломов, а только те из них, которые были наиболее типичными для третьей волны демократизации и вдобавок появлялись более чем в одном культурно-цивилизационном круге. Таким образом, речь здесь идет о демократических революциях, у которых существуют в первую очередь эндогенные (имеющие внутреннее происхождение) причины и которые вспыхивают вследствие эрозии единства и сплоченности авторитарной властной элиты.

Лишь появление разногласий и расколов в старой элите открывает поле для мышления в категориях альтернативы тому, что было до сих пор. И пусть примером запуска процессов системного изменения для нас послужит демократическая революция в Испании. После смерти диктатора — генерала Франко — правительство предприняло попытки довольно скромного реформирования

а также Уругвая); 7) внезапный и бурный мятеж, организованный и координируемый реформистскими демократическими партиями (Коста-Рика в 1948 году); 8) революционные войны, которые ведутся марксистскими группировками (неясно, почему Степан выделил этот тип перехода к демократии, коль скоро он сам констатирует, что до сей поры не было ни одного примера марксистской революции, в результате которой появилась бы демократическая система, — как правило, в подобных случаях происходила замена одного авторитаризма другим). — *Авт.*

авторитарной системы, оставленной генералом Франко в качестве наследства, но быстро выяснилось, что даже скромные реформы не удастся провести без участия демократической оппозиции. В свою очередь, включение оппозиции в процесс реформирования системы настолько расширило сферу изменений, что консервирование остатков прежней системы стало выглядеть сомнительным, коль скоро существовала возможность вообще отказаться от нее. Динамика нарастания радикализма реализуемых изменений привела в конечном итоге к подлинной демократической революции и характеризовалась тремя стадиями, отчетливо поддающимися вычленению (*Stepan, 1986: 74*): скромные изменения, инициатором которых выступила элита старого режима (так называемая *reforma*, т.е. реформа) и которые затем привели к согласованным на переговорах с оппозиционной контрэлитой заметно более радикальным изменениям (*reforma-pactada*, договорная реформа). В свою очередь, эти более радикальные изменения поставили под вопрос сам смысл сохранения прежнего режима и вместе с тем запустили размышления элиты и контрэлиты над совершенно другим системным решением, иначе говоря над демократией, которая могла бы заменить авторитарный режим (*ruptura-pactada*, разрыв договоренностей).

Вывод, который можно извлечь из последовательности этих событий, нам уже известен — он представляет собой подтверждение обсуждавшегося ранее тезиса де Токвиля, что угроза для жесткой недемократической системы возникает не в тот момент, когда ее репрессивность достигает кульминации, равно как и не в период, когда она испытывает глубокий легитимационный дефицит, и даже не в ситуации, когда социальное неравенство становится очень глубоким, а бесправные или пауперизованные классы — весьма многочисленными. Наибольшая угроза для такой закостеневшей, негибкой системы появляется в то время, когда властители предпринимают попытку ее реформирования, обычно означающего какую-то степень либерализации жестких и — по всеобщему ощущению — непоколебимых правил игры. В такой ситуации оказываются запущенными в ход два процесса: во-первых, монолитная до сих пор элита старой системы дифференцируется в зависимости от отношения к внедряемым реформам и, во-вторых, среди широких масс распространяется подозрение, что, быть может, правила игры, действующие в публичной жизни, не столь уж нерушимы, как казалось, а коль это так, то на повестку дня ставится вопрос об их дальнейшей

либерализации. Совершенно иная организация публичной жизни перестает быть пустыми, нереалистическими мечтаниями и, более того, становится предметом переговоров и торга между элитой старой системы и контрэлитой (последняя либо рекрутируется из того сильно ограниченного диссидентского движения, которое власть как-то терпела, либо выдвинулась в качестве побочного следствия того первого реформаторского импульса, инициатором которого выступала определенная часть старой элиты).

Когда же такая демократическая революция протекает мирным путем? Схемой, объясняющей данное явление, может послужить **теория четырех игроков** (Przeworski, 1992; Linz, Stepan, 1996). Теория четырех игроков предполагает существование элиты старой системы, разделенной на твердолобых и реформаторов, и контрэлиты, тоже разделенной (на умеренных и радикалов). Когда такие разделения действительно наступают, трансформационная игра охватывает уже четырех игроков (отсюда и название указанной теории). Цели обоих игроков старой элиты идентичны, только пути, ведущие к этим целям, существенным образом различаются. И твердолобые и реформаторы хотят сохранить старую систему, но знают, что без глубоких изменений достигнуть этого не удастся. Однако первые из них убеждены, что спасти систему может лишь возвращение к доктринальной ортодоксии, а кризис системы они связывают с отходом или отклонением от основополагающих догматических принципов системы. В то же время вторые уверены, что систему способны спасти только глубокие реформы, внедрение которых связано с отказом от некоторых догматов доктрины. Другими словами, мнение реформаторов таково: система находится в кризисе вследствие того, что она слишком судорожно цепляется за идеологические догмы, которые не находят подтверждения на практике.

Разобщенность, возникающая в контрэлите, тоже не касается генеральной цели, которой является замена старой системы на новую (это стремление — общее и для умеренных, и для радикалов); на два названных крыла контрэлита делится ввиду разного диагноза ситуации и различающихся стратегий достижения генеральной цели. Умеренные считают, что, хотя старая система находится в кризисе, все-таки по-прежнему не нужно пренебрегать ее силой, чтобы не погубить ту степень либерализации, которая уже достигнута. Посему к генеральной цели нужно двигаться методом малых шажков. Радикалы тем временем считают систему уже

слишком слабой для того, чтобы она могла подняться и выйти из состояния упадка. Поэтому следует применять методы из арсенала классической революции; иначе говоря, надлежит, привлекая сильные средства и даже прибегая к насилию, свергнуть старую властную элиту (которая в глазах радикалов представляет собой единственный связующий элемент, цементирующий старую систему) и установить новые порядки.

В соответствии с этой схемой реальный ход событий обуславливается тем, кто контролирует старую элиту и контрэлиту. Если в старой элите доминируют твердолобые, шансы на мирную демократическую революцию невелики. Впрочем, подобным же образом обстоят дела, если в контрэлите доминируют радикалы. Так происходит по той причине, что если старую элиту держат под контролем твердолобые, то расклад сил в контрэлите не имеет значения, поскольку старая элита в этом случае ищет рецепт для выхода из системного кризиса не в попытках договориться с контрэлитой, а в придании старой системе доктринальной жесткости и негибкости. В подобной ситуации, даже если в контрэлите первоначально доминировали умеренные, их подход к решению проблем проигрывает, слово там получают радикалы, а конфронтация между старой элитой и контрэлитой становится неотвратимой. Результат такой конфронтации труднопредсказуем для обеих сторон и в большой мере зависит от способности мобилизовать общественную поддержку как твердолобыми, с одной стороны, так и радикалами — с другой. У тех, кто сумеет заручиться значительно большей поддержкой, шансы на успех обычно выше, хотя старая элита обладает тем преимуществом, что она контролирует силовые структуры авторитарного государства (армию и полицию), которые могут быть употреблены для расправы с радикалами в составе контрэлиты, а позднее и с остальной ее частью.

Если в контрэлите доминируют радикалы, то до договоренности дело тоже не доходит (на сей раз — из-за отсутствия готовности к ней у контрэлиты) и снова конфронтация неизбежна, поскольку в таком случае реформаторы из старой элиты слабеют, а контроль там перехватывают твердолобые.

Наибольшие шансы на мирную демократическую революцию возникают в том случае, когда старую элиту контролируют реформаторы, тогда как контрэлите — умеренные. При такой расстановке сил и для старой, и для новой элиты открывается переговорное пространство. Правда, цели обеих сторон, участвующих

в переговорах, существенным образом расходятся, а уровень взаимного доверия низок, но тем не менее между ними начинается переговорный процесс, результат которого далеко не predetermined. Реформаторы, как правило, нацелены на кооптацию какой-то части контрэлиты в состав старой элиты. Таким способом они добиваются двух промежуточных целей: (1) ослабления контрэлиты и возможности изолировать ее радикальное крыло как безответственное или скандальное, а также (2) увеличения общественной легитимации старой элиты, что предоставляет ей возможность для проведения непопулярных в обществе, хотя и необходимых реформ старой системы, дабы восстановить ее способность к самовоспроизведению. Умеренные, в свою очередь, вступают в игру с реформаторами старой элиты, будучи убежденными, что переговоры ускорят либерализацию старой системы и доведут ее до такой точки, когда реформаторы из старой элиты перестанут поддерживать сохранение старых, недемократических правил игры. С какого-то момента этой игры в группе реформаторов происходит переопределение интересов (особенно если со стороны умеренных даны какие-либо гарантии безопасности партнерам по переговорам из состава старой элиты): тем самым успех переговоров начинает быть общим делом и предметом совместной заинтересованности реформаторов и умеренных. Ведь альтернативой выступает потеря влияния реформаторов в старой элите и умеренных в контрэлите, а также такое явление, когда вместо переговоров начинается силовая конфронтация между твердолобыми и радикалами. Линц и Степан (*Linz, Stepan, 1996: 61–65*) отмечают, что механизм, описанный в теории четырех игроков, может иметь применение единственно по отношению к демократизации и либерализации авторитарного и посттоталитарного режимов; идеальные типы «султанских» и тоталитарных режимов не создают возможностей для подобного решения. В «султанском» режиме любая позиция в элите и само пребывание в ней возможны только благодаря принадлежности к персоналу «султана», а среди этой клики нет места для формирования фракции реформаторов, которые хотели бы менять какие-то элементы существующей системы против воли ее предводителя. В свою очередь, при тоталитарном режиме нет места не только для четырех, но даже для двух игроков. Твердолобый лидер тоталитарной системы элиминирует в зародыше любой росток фракции в собственной группировке и не допускает формирования контрэлиты (хотя бы в зачаточной форме).

Как и всякие теоретические обобщения, теория четырех игровых тоже является упрощением, поскольку она описывает гораздо более сложную действительность в схематической форме. Однако ее слабость состоит не в этом, но в игнорировании указанной схемой двух существенных факторов, а именно (1) общественных реакций на игру элит (об этих реакциях и их структурных обусловленностях пойдет речь в следующей главе), а также (2) динамики выстраивания переговорного процесса элиты и контрэлиты вокруг системных правил.

Переход к демократии — это процесс, в ходе которого перемены претерпевают не только элементы существующей системы, но и главные акторы изменений, а также общество, которое отчасти эти изменения порождает, а отчасти является их объектом. В максимальном упрощении могут быть выделены следующие стадии указанного процесса¹.

1. **Начальная стадия**, в которой трансформационные процессы оказываются запущенными в ход. Начальную стадию удастся лучше описывать в категориях трансформации, чем перехода к демократии, ибо уже известно, что старая система подвергается распаду, но результат этого процесса даже в самом лучшем случае не совсем ясен. **Трансформационная сила**² данного

¹ Перес-Диас (Pérez-Díaz) применяет для выделения стадий перехода к демократии другие аналитические категории. В соответствии с его подходом системное изменение представляет собой комплекс из следующих трех процессов, частично налагающихся друг на друга: перехода, консолидации и институционализации. Переход (transition) — это период переговоров между акторами публичной жизни и установления основополагающих правил игры. Консолидация представляет собой широкое распространение убежденности в том, что новая система выживет и сохранится, а ее правила игры начинают столь же широко соблюдаться в публичной жизни. Институционализация означает, что преобладающая часть общества признаёт новую систему правомочной, а новые правила игры усвоены и интернализированы как политиками, так и обществом (Pérez-Díaz, 1996: 15–16). Указанная категоризация, правда, относительно хорошо описывает переход к демократии в Испании, но она не учитывает того факта, что первоначальная динамика изменения вовсе не обязана вести к демократии, а потому ее трудно описывать в парадигме перехода, или транзита. — *Авт.*

² Трансформационная сила понимается здесь или как инициирование взбунтовавшимися массами некоего процесса, в результате которого появляется контрэлита, становящаяся во главе мятежа, или же как

процесса характеризуется его способностью преобразовать *ancien régime* (старый порядок. — фр.) в новую систему (не предвешая, какой эта система окажется).

2. **Межсистемная стадия**, на которой старая система перестает функционировать, а основные конструкции новой системы лишь создаются. Если эти конструкции указывают на то, что из данного изменения может родиться демократическая система, то данную стадию — так же как и следующую — лучше удастся описать в категориях перехода, чем трансформации.
3. **Стадия консолидации**, на которой новая система стабилизируется, а действующие в ней обязательные правила игры являются практически единственным доступным в публичной жизни способом проявления различных интересов и ценностей.

Начальная стадия характеризуется острым легитимационным дефицитом старой системы, массовым отказом от лояльности перед институтами и правилами игры прежней системы, а также появлением гражданского протообщества в форме слабо структурированных общественных движений (или одного-единственного движения, объединяющего все виды протеста), которые явным образом выражают этот отказ от лояльности перед старой системой и переносят свою лояльность на контрэлиту. Старая система уже не только не способна себя воспроизводить, но даже ее повседневное функционирование нарушено до такой степени, что, в принципе, единственным способом избежать хаоса является либо возникновение другой системы, либо насильственная реставрация правил и логики прежней системы.

Межсистемная стадия характеризуется двумя существенными свойствами: 1) правила игры неясны, а граница между позволительным и недозволенным зыбка; старые правила игры еще действуют — благодаря инерции (правда, их выполняемость уже невелика), тогда как новые правила игры пока не только не усвоены политиками и обществом, но даже еще не до конца установлены и определены; 2) общественное движение, составляющее политическую базу контрэлиты, начинает дифференцироваться: какая-то его часть претерпевает демобилизацию, а ряд

договоренность (пакт) между старой элитой и контрэлитой (поддерживаемой массами), которая на практике ведет к падению старого режима и открывает дорогу к созданию нового режима. — *Авт.*

активных до сих пор членов движения отходит от дел и отступает в пространство частной жизни, в то время как другая часть подвергается плюрализации и институционализации или в форме политической партии, или же в форме какой-нибудь организации, функционирующей в пределах гражданского общества. Среди значительной части тех, кто отступил либо маргинализировался, доминирует состояние аномии, или, иначе говоря, аксиологической дезориентации, а также страх перед неопределенностью завтрашнего дня и в целом разочарованность последствиями изменений (Kolarska-Bobińska, 1992).

Стадия консолидации демократии характеризуется следующими чертами и свойствами:

1) новые правила игры уже настолько распространены и интернализированы (усвоены и привиты), что становятся практически единственным регулятором взаимоотношений не только на макроуровне (институты государства), но также на мезоуровне, т.е. на среднем уровне (в пространстве деятельности гражданского общества);

2) новая система легитимирована – по меньшей мере в том смысле, что попытки мобилизовать поддержку для альтернативной системы (и альтернативных правил игры) не находят сколько-нибудь существенной поддержки ни в гражданском обществе, ни в ранее демобилизовавшейся части широких масс, которые ушли от активной деятельности и отступили в частную сферу;

3) взаимоотношения между институтами демократического государства и разнообразными ветвями, ведомствами и подразделениями гражданского общества эволюционируют от антагонистических к неантагонистическим.

Демократия вместе с ее процедурами становится на стадии консолидации – если воспользоваться метафорой Линца и Степана (Linz, Stepan, 1996: 5) – «единственной игрой в городе». Правила игры, кодифицированные в конституции, делаются нормативным фундаментом всей системы, а также регулируют функционирование государства и гражданского общества, равно как и принципы участия граждан в публичном пространстве. Эти формальные правила игры, если их не сопровождают явления институционализации неформальных правил игры, скрывающихся за фасадом демократических институтов, признаются правомочными не только в писаном праве, но и в убеждениях тех индивидов, которые

активизируются в публичном пространстве. Если все указанные требования соблюдаются, то демократию можно признать консолидированной, а переход к демократической системе — завершившимся успехом.

Однако, как пишет О’Доннелл (*O’Donnell*, 1997: 46), «многие из новых полиархий не страдают отсутствием институционализации, но концентрация только на в высокой степени формализованных и сложных организациях не позволяет нам заметить небывало влиятельные неформальные, а иногда скрытые институты: клиентелизма и, более общо, — партикуляризма». Стоит помнить об указанном предостережении, ибо эти неформальные, а иногда и институционализированные, но скрывающиеся от общественного мнения связи и структуры создают «плодотворную почву» для разнообразных патологий публичной жизни (о них пойдет речь в последней главе). В тех странах, которые вышли из коммунизма и успешно завершили переход к демократии, консолидация системы «подтачивается» двумя способами. С одной стороны, мы имеем дело с инерцией навыков и неформальных связей, сформированных еще предыдущей системой. С другой — со стратегиями функционирования в новой системе, сформировавшимися в ходе межсистемной стадии (когда новые правила игры лишь формировались, а их соблюдение и проведение в жизнь были слабыми). Данные стратегии, которые на межсистемной стадии оказывались для разнообразных групп интересов эффективным способом достижения частных целей (особенно на стыке политической и экономической сфер), по-прежнему продолжают присутствовать и на стадии консолидации демократии. Они заключаются в «обходе» формальных правил игры — в убеждении, что сильные связи с сегодняшней властной элитой обеспечат возможность избежать дисциплинарных и уголовных санкций. Как следствие, это ведет к явлениям коррупции в сфере государственных институтов, на промежуточном уровне — к торможению эволюции от клиентелизма к гражданству, а на микроструктурном уровне — к широкой распространенности убеждения в том, что формальные правила игры представляют собой фасад, за которым люди власти и денег реализуют свои частные интересы за счет общего блага.